

**БОРИС
СЛУЦКИЙ**



ПАМЯТЬ

✿ **БОРИС СЛУЦКИЙ** **ПАМЯТЬ** ✿

**БОРИС
СЛУЦКИЙ**
ПАМЯТЬ









**БОРИС
СЛУЦКИЙ**



ПАМЯТЬ



**СТИХИ
1944-1968**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1969**

Р 2
С 49

Вступительная статья
Л. Лазарева

Художник
С. Бочаров

7-4-2
95-69

«С НАДЕЖДОЙ, ПРАВДОЙ И ДОБРОМ...»

Напечатав перед самой войной, в мае 41-го года, первое стихотворение, Борис Слуцкий — в ту пору он был студентом Литературного института им. Горького — замолчал затем на десять с лишним лет. Следующее его стихотворение появилось лишь в 53-м году, когда многие ровесники Слуцкого выпустили уже не одну книгу. Между этими двумя датами была война, на которой Слуцкий — политработник, а потом разведчик — пережил все, что составляло обычную фронтную судьбу почти каждого офицера переднего края. И кажущиеся бесконечными минуты атаки, когда под огнем надо

«вставать, отрывать гимнастерку от глины и солдат за собой поднимать». И гибель друзей, на могилах которых «мрамор лейтенатов — фанерный монумент». И вступление в партию — в горькие дни отступлений, когда еще «вся война лежала перед нами», под свист снарядов, — «бригадная партийная комиссия сидела прямо на сырой земле». И гордость за то, что «роздал земли графские крестьянам южной Венгрии». Между этими двумя датами была не только война, но и трудные — для всех, и для Слуцкого, которому долгие месяцы пришлось еще долечиваться в госпиталях, — послевоенные годы.

Первыми опубликованными в 53-м году стихами заявил о себе человек, за плечами которого был немалый жизненный опыт, и поэт вполне сложившийся. У Слуцкого, в отличие от многих его ровесников, и в этих первых стихах не было ничего ученического, подражательного. Он не числился в молодых, не ходил

в начинающих. Сразу же он оказался в центре жарких критических схваток: на него яростно нападали, его страстно защищали. Эстетические принципы, которым следовал и которые утверждал поэт, выражены в его стихах с такой резкостью и последовательностью, с такой нескрываемой полемичностью, что нейтральное отношение к его стихам исключалось. С той же силой, с какой сам Слуцкий отвергал какую-либо приглаженность, ретушь, «домалевыванье», риторический пафос, его поэтика подвергалась атакам за явное тяготение к прозе, к «обыденному», за подчеркнутый драматизм, за угловатую тяжеловесность.

Даже в первом опубликованном после войны стихотворении «Памятник» эти особенности поэтической индивидуальности Слуцкого проступили совершенно отчетливо. К тому времени уже сложилась определенная традиция в решении темы вечной памяти тех, кто отдал жизнь за родину. Вспомним хотя бы «Его зарыли

в шар земной» Сергея Орлова, «Надпись на камне» Семена Гудзенко, «Упал и замер паренек» Юлии Друниной. Все эти очень сильные стихи вызывают у нас то же чувство, что памятник неизвестному солдату,— торжественной скорби. Мы редко задумываемся над тем, кем был этот неизвестный солдат, которому сооружен памятник, как воевал он и погиб. Мы знаем, что он отдал жизнь за родину,— этого достаточно. И в стихах, о которых идет речь, у героя нет и не может быть индивидуальных черт. Это символ подвига, это памятник всем, кто сложил голову, защищая Отечество. Слуцкий идет иным путем, хотя цель у него та же — увековечить память павших в бою. Он рассказывает о последних минутах героя.

Стихотворение начинается прозаической картиной боя:

Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлomu
 мертвому,
 мокрому камню...

Все происходит так — и разговорное «лезла», и будничная интонация это подчеркивают, — как обычно бывало в трудном бою. И солдат, которому на вершине сооружен памятник, не водрузил там, как этого требуют мнимо романтические каноны, знамени: «...ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота». Смерть его была мучительной: скульптор, резавший из гранита памятник, — здесь полемика с эстетикой «приглаженности» идет уже почти впрямую — «гримасу лица, искаженного криком, расправил ударом резца ножевым». Стихотворение строится на перемежающихся контрастах: «я умер простым, а поднялся великим», живой человек и гранитный памятник, прах солдата пехоты, который «с пылью подножной смешался», и «пример и маяк» для целых народов.

Созревание таланта Слуцкого и было связано с отталкиванием от гладкописи, благостной казенщины, бодряческого равнодушия. Первые его стихи жили глав-

ным образом воспоминаниями о войне (характерно название его первого сборника — «Память», об этой книге он через несколько лет писал: «Место действия — была война. Время действия — опять война»). Даже среди тех поэтов военного поколения, которые, как и Слуцкий, вступали в литературу с «опозданием» (назову Д. Самойлова, Б. Окуджаву), он оказался больше других привержен этим воспоминаниям военных лет. То, что было пережито тогда, стало неотделимой частью его душевного опыта. Война живет и в вполне мирных стихах Слуцкого. Новые города — память непроизвольно подсказывает поэту сравнение — похожи на «батальоны одинаковых, как солдаты, домов». «Словно в танке танкисты, молча принимают колосья смерть», — напишет он о засухе. Рождение стиха у Слуцкого ассоциируется с атакой: «И слова из словесных окопов встают, выползают из-под словаря и бегут за стихом и при этом поют..» Так

он видит мир. Война стала для него не просто темой — пусть очень важной, не только предметом настойчивых воспоминаний, — из впечатлений той поры черпаются образы, сравнения, метафоры, эти впечатления окрашивают все увиденное сегодня.

Константин Симонов в 1944 году о первых появившихся стихах поэтов военного поколения писал, что они отличаются «очень прямой непосредственностью, своеобразной «дневниковостью». В стихах Слуцкого уже иная система измерения времени и мира, иной способ поэтического выражения. У поэтов, о которых пишет Симонов, расстояние между переживанием и стихом было коротким, как мгновение, — в сущности, его не было. В стихах Слуцкого фронтовая юность видится не только из дали годов, они выражают совершенно иное духовное состояние.

Давайте после драки
Помашем кулаками,—

напишет Слуцкий, подчеркивая, как неотвратимо ушла в прошлое фронтовая юность его поколения.

Поэзия военного поколения по преимуществу лирическая поэзия. Но если в автопортретах, нарисованных ровесниками Слуцкого во фронтовых стихах, выделялись прежде всего крайне волевое напряжение, солдатская доблесть, готовность преодолеть все невзгоды, то в стихах Слуцкого — большинство их принадлежит послевоенному времени — ясно видно и другое: незащищенность молодости, невероятная трудность выпавших на ее долю испытаний, ощущение обыкновенности собственной военной судьбы. Эти нынешние автопортреты, нарисованные Слуцким по памяти, больше походят на портреты.

Утро брезжит,
а дождик брызжет.

Я лежу на вокзале
в углу.

Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
на твердом полу.

Или:

Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку.
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке — литровку.

Слудский настойчиво возвращается к трагической стороне войны. Он пипет о погибших, о братских могилах: «Их много на шоссе на Ленинградском и на других шоссе их — без числа»; об инвалидах, тела которых «исчиркала война»; о горькой судьбе солдатских вдов — «дорожки от слез — это память о *нем*»; о «городах, большой войной измученных»; о том, «сколько черствого хлеба мы ели, сколько жидкого чаю мы пили»; о мальчиках, вставших вместо отцов за станки, отдавших «отечеству не золото-серебро — единственное детство, все свое добро»; о пленных, мрущих «с голодухи в

Кельнской яме». И в этом великом уважении — как всегда у Слуцкого выраженном острополемически — к тому, что вынес на своих плечах в войну простой человек, человек из народа, проявилось его понимание гражданских обязанностей поэта. Не случайно его оставили безучастным даже «парады природы» в Альпах — а какой это безотказный «возбудитель» поэтического вдохновения:

Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил,— забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.

Своей правдой, гуманистическим пафосом, пристальным вниманием к обыкновенному человеку стихи Слуцкого оказались созвучны тому глубокому процессу в нашем обществе, который связан с восстановлением ленинских норм. Все его творчество освещено мыслью о простых людях, которой завершается одно из стихотворений: «Надо их уважать обя-

зательно и не давать обижать никому», — так или иначе он постоянно возвращается к этой простой, но очень важной мысли.

И Слуцкого потому так властно притягивает трагическое, которое было житейской прозой войны, трагическое в его будничном обличье, что это — испытания, через которые прошел весь народ:

Вот вам село обыкновенное:
Здесь каждая вторая баба
Была жена, супруга верная,
Пока не прибыло из штаба
Письмо, бумажка похоронная,
Что писарь написал вразмашку.

Это подчеркнутое — «село обыкновенное», «каждая вторая баба» — чрезвычайно характерно для поэта. Здесь отчетливо обнаруживает себя эстетический принцип, определяющий поэтику Слуцкого.

Слуцкий отвоевал для поэзии немалый массив прозы. Проза жизни не только определила круг тем, к которым обращается поэт, не только обусловила его

пристальное внимание к быту и подсказала выбор героев — рядовые солдаты, посетители районной бани, жители заводской окраины, соседи по коммунальной квартире... Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы стиха: образный строй, язык, интонацию. Смело и широко Слуцкий использует солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже канцеляризмы. И перебои ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-либо характерного словечка — все это от живого говора улицы, который чутко схватывает Слуцкий. Но угловатость стихов Слуцкого обманчива — он из тех поэтов, которые огромное значение придают форме, «технике», инструментровке. Стихотворение сплошь и рядом находится у него «в работе» буквально годы, по этой причине он не ставит под стихами дат. И угловатость — результат не небрежности, а стремления разрушить, взорвать гладкость, зализанность, литератур-

ность, уйти от приблизительности, от импрессионистической неопределенности. Точность определений, острота и четкость мысли, ясность чувства — все это Слуцкий считает для себя обязательным, это тоже результат вторжения прозы в его стих.

Конечно, говоря об ассимиляции прозы поэзией, я имею в виду не переложение рифмованными строками того, что описано в повестях и романах, а о расширении сферы поэтического за счет прозы жизни. А это возможно при столкновении в стихе обыденного, того, что не укладывается в утвердившуюся норму поэтического, с эмоциональным и эстетическим пластом другой природы, другой, контрастной структуры. Весьма выразительный пример того, как проза становится высокой поэзией, — стихотворение «Как делают стихи». Здесь творческий процесс уподобляется атаке, которая рисуетя поэтом с поразительным бесстрашием перед жестокой фронтальной реаль-

ностью. Между очень далекими по содержанию слоями действительности — муки творчества и кровавый бой — возникает поэтический контакт. И поэтически осмысленной оказалась не только «проза» творческого процесса, но и страшные будни войны.

Слущкий обладает редкой способностью открывать поэзию в вещах сугубо прозаических. Именно открывать, потому что есть предметы, которые тотчас же вызывают у нас поэтические ассоциации, они как бы по традиции числятся за поэзией, а есть предметы, поэтическая природа которых скрыта или которые — тоже традиционно — считаются «непоэтическими». Слущкого интересуют вторые. Искусство трансформации прозы в поэзию для него так важно, что он даже посвятил ему специальное стихотворение, раскрывая, как поэзия «просачивается сквозь прозу»:

И проза, смирная пахота строк,
Сбивается в елочку или в лесенку.

И ритм отбивает какой-то срок,
И строфы сползаются в песенку.
И что-то входит, слегка дыша,
И бездыханное оживает:
Не то поэзия, не то душа,
Если душа бывает.

Поэзия Слуцкого не только долгое время питалась преимущественно фронтowymi впечатлениями — именно они дали соответствующее направление его таланту. Военная юность командировала его в поэзию. Стихотворение Слуцкого о том, как он, тогда политработник, говорил после захлебнувшейся контратаки солдатам, бесконечно уставшим от поражений, холода, голода, о родине, и они вновь шли в бой, заканчивается такими строками:

Я этот день,
Воспоминанье это,
Как справку, собираюсь предъявить
Затем,
 чтоб в новой должности — поэта
От имени России,
 говорить.

Очень важно для поэта и другое, о чем он пишет в стихотворении «Хорошее зрение»:

Ежели увижу — опишу
То, что вижу, так, как вижу.
То, что не увижу, — опущу.
Домалевыванья ненавижу.

Прожил жизнь. Образовался этакий
Впечатлений зрительных навал.
Всю свою нехитрую эстетику
Я на том навале основал.

Для поэта, сосредоточившегося на житейской прозе, исповедующего такую эстетику, фронтовая жизнь была материалом, удивительно соответствующим его дарованию. Само это понятие — фронтовые будни — включает в себе некий парадокс. В сущности, здесь в потенции уже заложен тот эстетический контраст, без которого нельзя вскрыть поэтическое в прозе. Ведь будни войны — это обыденность необычного, не укладывающегося в

привычные рамки человеческого существования. Крайний драматизм, трагичность этой житейской прозы рождает в стихах Слуцкого высокое лирическое напряжение. И чем сдержаннее, «суше», прозаичнее интонация, тем — по закону контраста — выше этот внутренний накал. Вот для примера стихотворение «Последнею усталостью устав...»:

Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат...

Автор словно боится оскорбить неуместным пафосом или сентиментальной нотой скорбную минуту. Даже эпитеты — «последнею», «предсмертным», «большие» — могут быть прочитаны и как простые определения. Но глубоко спрятанная горечь нарастает, становится почти нестерпимой:

за жизнь и безграничной самоотверженности. Как легко здесь впасть в риторику или, наоборот, в жалостливую слезливость! А для Слуцкого всех этих трудностей словно не существует, он уверенно обходит все опасности, все подводные камни,—случай в поэзии далеко не частый, когда материал предоставляет художнику такую внутреннюю свободу.

Это вовсе не значит, что Слуцкий поэт одной темы. Большинство его новых стихов посвящено современности. Среди них немало таких, которые имеют полное право на то, чтобы в дальнейшем быть в любом «самом избранном» Слуцкого,—назову хотя бы «Умирают мои старики...», «Старухи без стариков...», «На выставке детских рисунков...», «Толпа на театральной площади...», «Псевдонимы». Напомню, что начало обсуждению столь серьезной проблемы, как «физики и лирики», положило стихотворение Слуцкого... И все-таки, когда Слуцкий обращается к материалу современности, к сего-

дняшним будням, его подстерегают опасности. Этот материал не содержит в больших количествах и, так сказать, в открытых карьерах трагический динамит, которым поэт широко пользуется в стихах о войне. И контрасты житейской прозе наших дней в большинстве случаев надо искать, вероятно, не в трагическом или величественном. Целеустремленность, законченность, жесткость поэтической «системы» Слуцкого, которая была настроена на обнаженные трагические коллизии военных лет, иногда сковывает поэта, когда ему приходится иметь дело с жизненным материалом иной структуры — более однородной, более сглаженной, много таящей в недрах, — ему не всегда удается преодолеть силу сопротивления этого материала.

Вероятно, это одна из причин, почему Слуцкий в последние годы так много пишет о задачах искусства, о правах и обязанностях поэзии, о месте поэта в современной действительности. Возникла

потребность в «самоанализе», в осмыслении своей поэтической позиции, в проверке своего поэтического арсенала. Конечно, надо иметь в виду, что для Слуцкого все эти темы органичны еще и потому, что история русской литературы, особенно поэзии,— предмет его страстного интереса и неустанных занятий. Битвы со словом, которые ведет и о которых пишет Слуцкий, нешутящего свойства — вот откуда в его стихах о поэзии мотивы подвижничества, даже мученичества. Мучки слова, которые он испытывает, не профессионального, не «ремесленного» толка — они от трудности задач, которые он перед собой ставит. Он стремится постичь народную жизнь в ее существенных проявлениях, раскрыть ее коренные особенности. А сегодняшний день содержит куда меньше завершившегося, определенного, чем действительность военных лет. Слуцкий не сомневается в силе слова, знает, что поэзия людям необходима:

Покуда над стихами плачут
И то поносят, то возносят,
Покуда их, как деньги, прячут,
Покуда их, как хлеба, просят —
До той поры не отзвенело,
Не оскудело наше дело...

Но он знает и как велика ответственность поэта. У народа нет времени, чтоб выслушивать пустяки, нужны такие стихи, которые «возьмут в походные сумки люди». И поэт должен приходить к людям только с такими стихами, только «с надеждой, правдой и добром».

Л. Лазарев

ВОЙНА

ПАМЯТНИК

Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлому,
 мертвому,
 мокрому
 камню,
Но вышло,
 что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
Что славное дело,
 почетная служба,
Большая задача поручена мне.

— Да я уже с пылью подножной
смешался!

Да я уж травой придорожной пророс!

— Вставай, поднимайся! —

Я встал и поднялся.

И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком.

Расправил, разгладил резцом ножевым.

Я умер простым, а поднялся великим.

И стал я гранитным,

а был я живым.

Расту из хребта,

как вершина хребта.

И выше вершин

над землей вырастаю.

И ниже меня остается крутая,

не взятая мною в бою

высота.

Здесь скалы

от имени камня стоят.

Здесь сокол

от имени неба летает.

Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы

освобожденной страны,
Где графские земли

вручал

батракам я,

Где тюрьмы раскрыл,

где голодных кормил,

Где в скалах не сыщется

малого камня,

Которого б кровью своей не кропил.

Стою над землей

как пример и маяк.

И в этом

посмертная

служба

моя.

сон

Утро брезжит,
 а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
 в углу.
Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
 на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
 ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
 и от беды.

Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был
начат,
Но остался большой кусок.

Вот я вижу себя в кааптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два
в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.

Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный,
и последний,
И предсказанный песней бой.

Привокзальный Ленин мне

снится:

С пьедестала он сходит в тиши

И, протягивая десницу,

Пожимает мою от души.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Перед войной я написал подвал
Про книжицу поэта-ленинградца
И доказал, что, если разобраться,
Певец довольно скучно напевал.

Я сдал статью и позабыл об этом,
За новую статью был взятся рад.
Но через день бомбили
Ленинград—
И автор книжки сделался поэтом.

Все то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих
клялся,

В БАТАЛЬОНЕ ВЫЗДРАВЛИВАЮЩИХ

Мне было холодно. Мне было голодно.
Мне слишком тяжкими казались

труды.

Мне было спать на соломе — колотно..
Мне было трудно жить — от беды.

Беда. И вот в голодной казарме я
Куска без мысли сжевать не мог,
Что я и вся огромная армия
Не заработали себе на паек.

Я был в запасной, в ту пору, части..
Мне скоро было на фронт уходить..
И я собирался погибнуть с честью,
А нужно было желать победить.

Люди кругом — мои товарищи —
Решили выяснить, почему
Я день-деньской по траве,
скрывающей
Землю, мечусь?
И что — не пойму?

Самый что ни на есть перераненный
Летчик, упавший с небес живым,
Сказал, что мы победим не ранее
Того, когда победить решим.

Сказал — народа у нас побольше.
Сказал — идеи у нас милей.
И мы вернемся — от Волги к Польше,
Но только надо быть веселей.

Он говорил, а я помалкивал.
Помалкивал и смущенно помаргивал,
Но, в общем, этот политразговор —
Во мне.

С тех пор и — до сих пор.

Словно крошки с табачным сором,
Вытряхнулись печаль и беда.
Я повеселел. И стал — веселым.
И не грустил с тех пор никогда.

Г О Р А

Ни тучки. С утра — погода.
И, значит, снова тревоги.
Октябрь 41-го года.
Неспешно плывем по Волге.
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке — литровку.
Радио — черное блюдце —
Тоскливо рычит несчастья:

Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли.
Глотку сжимает ворот.
Стихли все мы, примолкли.
Но — подплывает город:
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем,—
Здесь погрузим продукты.
Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, добро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.
К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же — не убывала.

И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра,
Без жадности и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Не быть стране под врагами.
А быть ей доброй и вольной.
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караваи
И громоздят их — до неба!

* * *

— Хуже всех на фронте пехоте!

— Нет! Страшнее саперам.

В обороне или в походе

Хуже всех им, без спора!

— Верно, правильно!

Трудно и склизко

Подползать к осторожной траншее.

Но страшней быть

девчонкой-связисткой,

Вот кому на войне

всех страшнее.

Я встречал их немало, девчонок!

Я им волосы гладил,

У хозяйственников ожесточенных
Добывал им отрезы на платье.

Не за это, а так

отчего-то,

Не за это,

а просто

случайно

Мне девчонки шептали без счета
Свои тихие, бедные тайны.

Я слышал их немало, секретов,

Что слезами политы,

Мне шептали про то и про это,

Про большие обиды!

Я не выдам вас, будьте спокойны.

Никогда. В самом деле,

Слишком тяжело даются вам войны.

Лучше б дома сидели.

ВОЕННЫЙ РАССВЕТ

Тяжелые капли сидят на траве,
Как птицы на проволоке сидят:
Рядышком,

голова к голове.

Если крикнуть,

они взлетят.

Малые солнца купаются в них:
В каждой капле

свой личный свет.

Мне кажется, я разобрался, вник,
Что это значит — *рассвет*.
Это — пронзительно, как засов,
Скрипит на ветру лоза,

Но птичьих не слышится голосов—
Примолкли все голоса.

Это — солдаты усталые спят,
Крича сквозь сон

невест имена.

Но уже едет кормить солдат
На кухне верхом

старшина.

Рассвет.

Два с половиной часа

Мира. И нет войны.

И каплет медленная роса —

Слезы из глаз тишины.

Рассвет. По высям облачных гор

Лезет солнце,

все в рыжих лучах,

Тихое,

как усталый сапер,

С тяжким грузом огня

на плечах.

Рассвет. И видит во сне сержант:

Гитлер! Вот он, к стене прижат!

Залп. Гитлер падает у стены.

(Утром самые сладкие сны.)

Рассвет — это значит:

раз — свет!

Два — свет!

Три — свет!

Во имя света для всей земли

По темноте — пли!

Солнце!

Всеми лучами грянь!

Ветер!

Суши росу!

...Ах, какая бывает рань

В прифронтовом лесу!

П И С А Р Я

Дело,
 что было Вначале,—
 сделано рядовым,
Но Слово,
 что было Вначале,—
 его писаря писали.
Легким листком оперсводки
 скользнувши по передовым,
Оно спускалось в архивы,
 вставало там на причале.
Архивы Красной Армии, хранимые как
 святыня,
Пласты и пласты документов,
 подобные
 угля пластам!

Как в угле скоплено солнце,
в них наше сияние
стынет,

Собрано,
пронумеровано
и в папки сложено там.

Четыре Украинских фронта,
Три Белорусских фронта,
Три Прибалтийских фронта,
Все остальные фронты
Повзводно,
Побатарейно,
Побатальонно,
Поротно —
Все получают памятники особенной
красоты.

А камни для этих статуй тесали кто?
Писаря.

Бензиновые коптилки
неярким светом светили
На листики из блокнотов,
где,
попросту говоря,

Закладывались основы
литературного стиля.
Полкилометра от смерти —
таков был глубокий тыл,
В котором работал писарь.
Это ему не мешало.
Он, согласно инструкций,
в точных словах воплотил
Все,
что, согласно инструкций,
ему воплотить надлежало.
Если ефрейтор Сидоров был ранен
в честном бою,
Если никто не видел
тот подвиг его
благородный,
Лист из блокнота выдрав,
фантазию шпора свою,
Писарь писал ему подвиг
длиною в лист блокнотный.
Если десятиклассница кричала
на эшафоте,
Если крестьяне вспомнили два слова:
«Победа придет!» —

МОЙ КОМБАТ НАЗАРОВ

Мой комбат Назаров, агроном,
Высшее имел образование,
Но обрел свое призвание
В батальоне,
в том, где был он «ком».

Поле, паханная им земля,
Мыслилось теперь как поле боя.
До Берлина шли теперь поля
Битвы. Понимал комбат любое.

Разбирался в долах и горах,
Очень точно применялся
к местности,

Но не понимал, что честность
Иногда не исключает страх.

— Труса расстреляю лично я! —
Говорил он пополнению.
Сдерживая горькое волнение,
Слышали такое сыновья
Разных наций и племен различных,
Понимая: расстреляет лично.

Мой комбат Назаров разумел,
Что комбатов часто убивают,
Но спокойно говорил: бывает.
Ничего не требовал взамен.

Дело правое была война,
Для него же
 прежде всего — дело.
Лучшего не ведал он удела
Для себя в такие времена.

А солдат берег. Солдат любил.
И не гарцевал. Не красовался.
Да и сам без дела не совался
Под обстрел. Толковый был.

И доныне сердце заболит,
Если вспомню.

Было здорово
В батальоне у Назарова,
В том, где был я замполит.

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.

Он мог лежать иначе,

Он мог лежать с женой в своей

постели,

Он мог не рвать намокший кровью

мох,

Он мог...

Да мог ли? Будто? Неужели?

Нет, он не мог.

Ему военкомат повестки слал.

С ним рядом офицеры шли, шагали.

В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за
почесть.
Лежит солдат — в крови лежит,
в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ

Я засветло ушел в политотдел
И за полночь добрался до развалин,
Где он располагался. Посидел,
Газеты поглядел. Потом — позвали.

О нашей жизни и о смерти
мыслящая,
Все знающая о добре и зле,
Бригадная партийная комиссия
Сидела прямо на сырой земле.

Один спросил:

— Не сдрейфишь?
Не сбрешьешь?

— Не струсит, не солжет,—
другой сказал.
 А лунный свет, валивший через бреша,
 Светить свече усердно помогал.

И немцы пять снарядов перегнали,
 И кто-то крикнул про жите-бытье,
 И вся война лежала перед нами,
 И надо было выиграть ее.

И понял я,
что клятвы не нарушу,
 А захочу нарушить — не смогу,
 Что я вовеки
не сбрещу,
не струшу,
 Не сдрейфлю,
не совру
и не солгу.

Руку крепко жали мне друзья
 И говорили обо мне с симпатией.

Так в этот вечер я был принят
в партию,
Где лгать — нельзя
И трусом быть — нельзя.

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.

Лежим

 безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи

 в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.

Раз в день

 на площадь

 выводят лошадь,

Живую

 сталкивают с обрыва.

И вот она свергается в яму,
 И мы ее делим на доли
 неравно,
 И мы по конине молотим зубами,—
 О бюргеры Кельна,
 да будет вам срамно!

О граждане Кельна, как же так?
 Вы, трезвые, честные, где же вы были,
 Когда, зеленее, чем медный пятак,
 Мы в Кельнской яме
 с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
 Мы выскребли надпись на стенке
 отвесной,
 Короткую надпись над нашей
 могилой —

Письмо
 солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
 Над нами, над нами, над белыми
 костьями.»

Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за Родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу,
ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство
слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, души — с нами.

МОИ ТОВАРИЩИ

Сгорели в танках мои товарищи
До пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
Из них, конечно, проросла.
Мои товарищи
 на минах
Подорвались,
 взлетели ввысь,
И много звезд, далеких, мирных,
Из них,
 моих друзей,
 зажглись.
Про них рассказывают
 в праздники,

Показывают их в кино,
И однокурсники и одноклассники
Стихами стали уже давно.

З А Д А Ч А

— Подобрать троих для операции!

Вызвалось пятнадцать человек.

Как тут быть,

на что тут опираться?

Ошибешься — не простят вовек.

Офицер из отделения кадров,

До раненья ротный политрук,

Посадил охотников под карту

И не сводит глаз с дубленых рук.

Вот сидят они,

двадцатилетние,

Теребят свои пилотки летние

В зимних,

в обмороженных руках.

Что прочтешь в опущенных глазах?
 Вот сидят они,
 благоразумные,
 Тихие и смирные сверх смет,
 Выбравшие верную, обдуманную,
 Многое решающую
 смерть.

Их родители
 не спрошены,
 Ихние пороки
 не запрошены,
 Неизвестны ихние дела.
 Ихние анкеты потревожены.
 Вот и все. Лежат в углу стола.
 Сведения.
 Сведения.
 Сведения —
 Куцые — на краешке стола.
 О наука человековедения!
 Твой размах не выше ремесла.
 Как тут быть,
 на что тут опираться,
 Если три часа до операции?

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,

Еще

вот здесь

безумствуют стрелки,

Еще в ушах работает «ура»,

Русское «ура-рарара—рарара!» —

На двадцать

слогов

строки.

Здесь

ставший клубом

бывший сельский храм,—

Лежим

под диаграммами труда,

Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!

Здесь

ад

ревмя

ревет!

На глиняном нетопленном полу
Томится пленный,
раненный в живот.

Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,

на приземистом топчане,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!

(Шепотом — как мертвые кричат.)

Он требует как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,

рыжий,

ржавый

унтер прусский

Не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,

гладит гимнастерку

И плачет,

плачет,

плачет

горько,

Что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,
Лежит подбитый унтер на полу.

И санитар его, покорного,

Уносит прочь, в какой-то дальний зал,

Чтобы он

своею смертью черной

Нашей светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют
воины:
— Так вот оно
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
Суть `сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Зато в палате есть четыре тома
Романа толстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
Перечитала вся страна.
В госпиталях и в блиндажах военных,
Для всех гражданских и для всех
военных
Он самый главный: был роман,
любимый:

В него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимый,
Он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
Страна до дыр глубоких залистала.
Мне кажется, сама собою стала,
Глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
Но добродушье и великодушье
Мы сочетали с формулой простой:
Душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
Одoleвая смертную истому,
Докапывались, как и почему.
И воевали тоже по Толстому.

Из четырех томов его

косил

На Гитлера

фельдмаршал престарелый

И, не щадя умения и сил,
Устраивал засады и обстрелы.

С привычкой славной
вылущить зерно
Практического
перечли со вкусом
Роман. Толстого знали мы давно.
Теперь он стал победы
кратким курсом.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски — значит
«Слава»,—
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем
гордый,
Океан стараясь превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далеко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ

(Рассказ)

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши,
Вы, спички-палочки (так это
называлось),
Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
раздувшимся немецкой кровью.

Работай, смерть!
Не уставай! Потей
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта
Сорок второго,
 утром на заре,
Под звуки переливчатого мата
Ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположение сил,
И то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребенком.
Сказал,
 хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он сплясал.
Без лести.
От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
И дунул вальс про голубой Дунай:
Такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,
Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.

Мне — что!
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

НАШИ ЛЕЯТ!

Небо

вроде опрокинутой чаши —

Вышьем до дна

и ставим вверх дном.

Наши летят!

Не чужие, а наши

Дальше и выше летят

с каждым днем.

Помните небо сорок первого года?

Враги — повсюду.

Наши — нигде.

Любая ясная, безоблачная погода

Точно предсказывала: быть беде.

А сегодня — в воздухе и в эфире,
Всюду,
 куда ни кинешь взгляд,
Во всем бескрайном, безмерном мире
Наши летят!

КОГДА МЫ ПРИШЛИ В ЕВРОПУ

1

Когда мы пришли в Европу,
Нам были чудны и странны
Короткие расстоянья,
Уютные малые страны.
Державу проедешь за день!
Пешком пройдешь за неделю!
А мы привыкли к другому
И все глядели, глядели..
Не полки, а кресла в вагонах,
Не спали здесь, а сидели.
А мы привыкли к другому

И все глядели, глядели...
И вспомнить нам было странно
Таежные гулкие реки,
Похожие на океаны,
И путь из варягов в греки.
И как далеко-далеко
От Львова до Владивостока,
И мы входили в Европу,
Как море
 в каналы вступает.
И заливали окопы,
А враг — бежит,
 отступает.
И негде ему укрыться
И некогда остановиться.

2

Русские имена у греков,
Русские фамилии у болгар.
В тени платанов, в тени орехов
Нас охранял, нам помогал
Общий для островов Курильских

И для Эгейских островов
Четко написанный на кириллице
Дымно-багровый, цвета костров,
Давний-давний, древний-древний,
Пахнущий деревом, деревней,
Православной олифой икон —
Нашей общности старый закон.
Скажем, шофер въезжает в Софию,
Проехав тысячу заграниц.
Сразу его обступает стихия:
С вывесок, с газетных страниц,
В возгласах любого прохожего,
Стихия родного, очень похожего,
Точнее, двоюродного языка.
И даль уже не так далека,
И хочется замешаться в толпу
И каждому, словно личному другу,
Даже буржую, даже попу,
Долго и смачно трясти руку.
Но справа и слева заводы гудят,
Напоминая снова и снова
Про русское слово «пролетариат»,
Про коммунизм (тоже русское слово).
И классовой битвы крутые законы

Становятся сразу намного ясней:
Рабочего братства юные корни
Крепче братства словесных корней.

3

О если б они провидели,
О если бы знать могли,
Властители и правители,
Хозяева этой земли!
Они бы роздали злато,
Пожертвовали серебром
И выписались из богатых —
Сами ушли бы, добром.
Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.

И вот умирают классы,
Как на ветру — свеча,
И грубые радногласы
Гласят про смерть богача.

И режут быков румынских
Румынские кулаки
И талеров полные миски
Закапывают у реки.

А я гляжу, на Балканах,
Как тащит сердитый народ
За шиворот, словно пьяных,
Кумиры былых господ.
Сперва на них петлю
набрасывают,
Потом их влечат трактора,
Потом их в канавы сбрасывают
Под общие крики «Ура!».

О если б они провидели,
О если бы знать могли,
Властители и правители,
Князья, цари, короли!
Они бы из статуй медных
Наделали б медных котлов
И каши сварили для бедных —
Мол, ешьте без лишних слов.

Но слышание — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат...

О ПОГОДЕ

1

Я помню парады природы
И хмурые будни ее,
Закаты альпийской породы,
Зимы задунайской нитье.

Мне было отпущено вдоволь —
От силы и невпроворот —
Дождя монотонности вдовьей
И радуги пестрых ворот.

Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил, — забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.

Шагали солдаты по свету —
Истертые ноги в крови.
Вот это,
 друзья мои, это
Внимательной стоит любви.

Готов отказаться от парков
И в лучших садах не бывать,
Лишь только б не жарко,
 не парко,
Не зябко солдатам шагать.

Солдатская наша порода
Здесь как на ладони видна:
Солдату нужна не природа.
Солдату погода нужна.

2

Когда не бываешь по году
В насиженных гнездышках
 комнат,
Тогда забываешь погоду,
Покуда сама не напомним,

Покуда за горло не словит
Железною лапой бурана,
Покуда морозом не сломит,
Покуда жарою не ранит.

Но май сорок пятого года
Я помню поденно, почасно,
Природу его, и погоду,
И общее гордое счастье.

Вставал я за час до рассвета,
Отпиливал полкаравая
И долго шатался по свету,
Глаза широко раскрывая.

Трава полусотни названий
Скрипела под сапогами.
Шли птичьи голосованья,
Но я разбирался в том гаме.
Пушистые белые льдинки
Торжественно по небу плыли.
И было мне странно и дико,
Что люди все это — забыли.

ИТАЛЬЯНЕЦ

В конце войны
 в селе Кулагино
Разведчики гвардейской армии
Освободили из концлагеря
Чернявого больного парня.
Была весна и наступление.

Израненный и обмороженный,
До полного выздоровления
В походный госпиталь положенный,
Он отлежался, откормился,
С врачами за руку простился.
И началось его хождение
(Как это далее изложено).

И началось его скитание
В Рим!

Из четвертого барака.
Гласила: «Следует в Италию»
Им

предъявляемая справка.
Через двенадцать язык,
Четырнадцать держав
Прошел он,
эту справку сжав,
К своей груди
прижав.

Из бдительности
ежедневно
Его подробнейше допрашивали.
Из сердобольности
душевной

Кормили кашею
трехразовую.

Он шел и шел за наступлением
И ждал без всякого волнения
Допроса,
а затем обеда,

Справку

загодя

показывая.

До самой итальянской родины

Дорога минами испорчена.

За каждый шаг,

им. к дому пройденный,

Сполна

солдатской кровью

плочено.

Он шел по танковому следу,

Прикрыт броней.

Без остановки.

Шел от допроса до обеда

И от обеда до ночевки.

Чернявый,

маленький,

хорошенький,

Приятный,

вежливый,

старательный,

Весь, как воробышек, взъерошенный,

В любой работе очень тщательный:

Колол дрова для поваров,
Толкал машины — будь здоров! —
И плакал горькими слезами,
Закапывая мертвецов.

Ты помнишь их глаза,
усталые,

Пустые,
как пустые комнаты?
Тех глаз не забывай
в Италии!

Ту пустоту простую
помни ты!

Ты,
проработавший уставы
Сельхозартели и военные,
Прослушавший на всех заставах
Политбеседы откровенные,
Твердивший буквы вечерами,
Читавший сводки с шоферами,
Ты,

овладевший политграмотой
Раньше итальянской грамоты!
Мы требуем немного —
памяти.

Пускай запомнят итальянцы
И чтоб французы не забыли,
Как умирали новобранцы,
Как ветеранов хоронили,
Пока по танковому следу
Они пришли в свою победу.

* * *

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой,
Чтоб излагать с достойной полнотой
Ее приказов формулы простые.
Я был политработником. Три года —
Сорок второй и два еще потом.

Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
 в бою,
Перед голодными,
 перед холодными,

Голодный и холодный.

Так!

Стою.

Им хлеб не выдан,
им патрон недодано.
Который день поспать им не дадут.
И я напоминаю им про родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали
из дому,
Все то, что в песнях с их судьбой
сплелось,
Все это снова, заново и сызнова,
Коротким словом — родина — звалось.
Я этот день,
Воспоминанье это,
Как справку
собираюсь предъявить,
Затем,
чтоб в новой должности — поэта —
От имени России
говорить.

ЖИЗНЬ

РАБОЧАЯ ПЕСНЯ

Завьяловский хор стариков
Поет на эстраде фабричной.
Напев словно с детства знаком —
Старинный, бывалый, привычный.

Негромко поют старики
Слабеющими голосами.
Топорчатся их пиджаки,
И слышится в песне: «Мы — сами!»

Мы сами
 сложили слова,
Мы сами
 мотив подобрали,

ЗАСУХА

Лето сорок шестого года.
Третий месяц жара,— погода.
Я в армейской больнице лежу
И на палые листья гляжу.

Листья желтые, листья палые
Ранним летом сулят беду.
По палате, словно по палубе,
Я, пошатываясь, бреду.

Душно мне.
Тошно мне.
Жарко мне.
Рань, рассвет, а такая жара!

За спиною шлепанцев шарканье,
У окна вся палата с утра.

Вся палата, вся больница,
Неумыта, нага, боса,
У окна спозаранку толпится,
Молча смотрит на небеса.

Вся палата, вся больница,
Вся моя большая земля
За свои посевы боится
И жалеет свои поля.

А жара все жарче.
Нет мочи.
Накаляется листьев медь.
Словно в танке танкисты,
молча

Принимают
 колосья
 смерть.

Реки, Гитлеру путь
 преграждавшие,
Обнажают песчаное дно.

Камыши, партизан скрывавшие,
Погибают с водой заодно.

...Кавалеры ордена Славы,
Украшающего халат,
На жару не находят управы
И такие слова говорят:

— Эта самая подлая засуха
Не сильней, не могучее нас,
Сапоги вытиравших насухо
О знамена врагов
не раз.

Листья желтые, листья палые,
Не засыпать вам нашей земли!
Отходили мы, отступали мы,
А, глядишь, до Берлина дошли.

Так, волнуясь и угрожая,
Мы за утренней пайкой идем.
Прошлогоднего урожая
Караван
в руки берем.

Режем,
 гладим,
 пробуем,
 трогаем
Черный хлеб, милый хлеб,
 а потом —
Возвращаемся той же дорогой,
Чтоб стоять
 перед тем же окном.

МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.

Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не золото-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.

На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.
Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:

Смежив глаза суровые,
Здесь,
 рядом,
 дети спят.

П Л Я Ж И 46-го Г О Д А

Нынче солнце, ведро, погода,
Даль безоблачная далека.
Пляжи сорок шестого года
Сыплют в память струю песка
Золотого.

Продырявленное войною,
Словно выломанное во плоти,
То входное, то выходное,
Чтоб железу легче пройти,
Отверстие.

Где светлеет, а где темнеет.
Где в плече, где на животе.

Малой искоркой боя тлеет
Наше прошлое. Живы те
Раненые.

Живы. Раны их зарубцованы.
Кости сломанные срослись.
Но, как птицы, они окольцованы,
И война их держит всю жизнь
Напролет.

Между тем всеобщее солнце'
По всеобщему небу ползет.
Небо сине, а море солоно,
И прибой берега грызет
Без устали.

Надышавшийся перед смертью
Неминуемой тишиной,
Замешавшейся с крутовертью,
Именуемой войной,
Выдыхает

Все почти четыре года
То окопов, то госпиталей,

И послевоенные льготы,
Дым заводов и пыль полей —
Всё.

Успокоилось все, что корчилось,
Все разодранное срослось.
Вот и кончилось, кончилось,
кончилось
То, что так давно началось:
Война.

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.

После — планки носил.

После — просто следы этих планок носил,

А потом гимнастерку до дыр износил

И надел заурядный пиджак.

А вдова Ковалева все помнит *о нем*,

И дорожки от слез — это память *о нем*,

Столько лет не забудет никак!

И не надо ходить. И нельзя не пойти.

Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Марья Петровна, вдова,

Говорит мне у входа слова.

Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету —
спиной,

Но бесшумно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцевитый стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острою.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
 как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
 спины
Один другому бодро трут.

Там тело всякого мужчины
Исчеркали
 война
 и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
 матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
 занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
 забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянную стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там
 с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
 парились или нет?
Там два рубля любой билет.

* * *

Толпа на Театральной площади.
Вокруг столичный люд шумит.
Над ней четыре мощных лошади,
Пред ней экскурсовод стоит.

У Белорусского и Курского
Смотреть Москву за пять рублей
Их собирали на экскурсию —
Командировочных людей.

Я вижу пиджаки стандартные —
Фасон двуборт и одноборт,
Косоворотки аккуратные,
Косынки тоже первый сорт.

И старые и малолетние
Глядят на бронзу и гранит,—
То с горделивым удивлением
Россия на себя глядит.

Она копила, экономила,
Она вприглядку чай пила,
Чтоб выросли заводы новые,
Громады стали и стекла.

И нету робости и зависти
У этой вот России к той,
И та Россия этой нравится
Своей высокой красотой.

Здрав башку и тщетно сисясь
Запомнить каждый новый вид,
Стоит хозяин и кормилец,
На дело рук своих
глядит.

* * *

Вот вам село обыкновенное:
Здесь каждая вторая баба
Была жена, супруга верная,
Пока не прибыло из штаба
Письмо, бумажка похоронная,
Что писарь написал вразмашку.

С тех пор
 как будто покоренная
Она
 той малою бумажкою.

Пылится платьице бордовое —
Ее обнова подвенечная,

Ах, доля бабья, дело вдовое,
Бескрайное и бесконечное!

Она войну такую выиграла!
Поставила хозяйство на ноги!
Но, как трава на солнце,
выгорело
То счастье, что не встанет наново.

Вот мальчики бегут и девочки,
Опаздывают на занятия.
О, как желает счастья деточкам
Та, что не будет больше матерью!

Вот гармонисты гомон подняли,
И на скрипучих досках клуба
Танцуют эти вдовы. По двое.
Что, глупо, скажете? Не глупо!

Их пары птицами взвиваются,
Сияют утреннею зорькою,
И только сердце разрывается
От этого веселья горького.

* * *

О. Ф. Берггольц

Все слабели, бабы — не слабели,—
В глад и мор, войну и суховой
Молча колыхали колыбели,
Сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище
И не предали девичьих снов
Ради хлеба, ради этой пищи,
Ради орденов или обнов,—

С женотделов и до ранней старости,
Через все страдания земли
На плечах, согбенных от усталости,
Красные косынки пронесли.

П Е Р Е Р Ы В

На строительстве был перерыв —
Целый час на обед и на роздых.
Полземли прокопав и прорыв,
Выбегали девчата на воздух.
Покупали в киоске батон,
Разбивали арбуз непочатый.
Это полперерыва. Потом
Полчаса танцевали девчата.

Патефон захрипел и ослаб,
Дребезжа перержавленной жостью,—
И за это покрыт был прораб
Мелодической руганью женской.

Репродуктор эфир начинал
Популярнейших песен словами.
Если диктор статью начинал,
Так они под статью танцевали.
Под звонок, под свисток, под гудок —
Лишь бы ноги ритмично ходили.
А потом отошли в холодок,
Посидели, все обсудили
И, косынками косы накрыв,
На работу —
 по сходням
 дощатым!

Вот как много успели девчата
За обеденный перерыв!

КАДРЫ — ЕСТЬ!

Кадры — есть! Есть, говорю, кадры.
Люди толпами ходят.
Надо выдумать страшную кару
Для тех, кто их не находит.

Люди — ракету изобрели.
Человечество до Луны достало.
Не может быть, чтоб для Земли
Людей не хватало.

Как ни плотна пелена огня,
Какая ни канонада,
Встает человек: «Пошлите меня!»
Надо — значит надо!

О К Р А И Н А

Вот они, дома конструктивистов,
Заводской окраины краса.

Покажи их, Подмосковье,

выставь

Первой пятилетки корпуса!

Выставь зданья серые и честные,
Как шинель солдатского сукна,
Где живут станочники известные —
Громкие в районе имена.

Выставь окна светлые, огромные,
Что глядят на юг и на восток.

Школы стройные, дороги ровные,
Фабрики, заводы и Мосторг.

Именем режима экономии,
Простоте навечно поклянясь,
Строй квартиры светлые и новые,
От старья колонн отворотясь!

Пусть стоит исполненной клятвою,
Никаких излишеств не тая,
Чистота твоя и светлота твоя,
Милая окраина моя.

П Р О В О Д А

Уже в пейзаж вписались провода,
Особенно,
 когда прогнута снегом,
С их телеграммным кличем, плачем,
 смехом,
Переполохом, окриком, успехом
И, как по Волге,
 только с большим спехом,
По ним текут и радость и беда.

Воображеньем не выразишь
То затаенное лихо, глушь и тишь,
Что прежде так легко воображались.
Они сегодня не рожают жалость.

Над ними тонкой струйкой провода —
Для сообщений, жалоб, ликований.
Вся глушь и тишь,
 все лихо и беда
По проводам текут из глухомани.

* * *

Не только телеграммы в проводах:
Они набиты также и ветрами,
Которые гласят о каждой драме,
Которая струится в проводах.

Давно минувший предыдущий век
Давным-давно оплакан телеграфом,
Но горести присущи телеграммам
И в наш, пока еще идущий век.

Поэтому-то проводная сеть
Не устает гласить, рыдать и петь,

Как будто о возмездии взывает.
Поэтому она ревмя ревет,
Как будто бы семью к одру зовет
И словно неотложку вызывает.

* * *

Ленина звали «Ильич» и «Старик» —
Так крестьянина зовет крестьянин.
Так рабочий с рабочим привык,
Ленина не звали «Хозяин».
«Старик» называли его, пока
Он был еще молод — в знак уваженья.
А «Хозяин» — это словцо батрака,
Тихое от униженья.

Весь наш большой материк
И все другие страны земли
Хороших людей называют «старик»
И лучшего слова найти б не смогли.

Н. Н. АСЕЕВ ЗА РАБОТОЙ

(Очерк)

Асеев пишет совсем неплохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.

С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?

Они — пустяки!

Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,

И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным — снайперский
взгляд.

И словно весною — щепка на щепку —
Рифма лезет на рифму цепко.

И вдруг серебрет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,

И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается — до дна.

И все повадки —
пенсионера,

И все поведение —
старика

Становятся поступью пионера,
Которая, как известно, легка.

И строфы равняются — рота к роте,

И свищут, словно в лесу соловьи,

И все это пишется на обороте
Отложенной почему-то статьи.

НА СМЕРТЬ АСЕЕВА

Товарищ уходит черным дымом,
А был веселым, светлым дымком,
И только после стал нелюдимым,
Серым от седины
стариком.

Товарищ уходит черной копотью.
Теперь он просто дым без огня.
И словно слышится: «Дальше
топайте.

Только, пожалуйста, без меня».
И мы отъезжаем от этого здания,
Где каждый метр посвящен судьбе,
Готовые выполнить любое задание,
Которое лично даем себе.

П С Е В Д О Н И М Ы

Когда человек выбирал псевдоним
Веселый,
Он думал о том, кто выбрал фамилию
Горький.
А также о том, кто выбрал фамилию
Бедный.
Веселое время, оно же светлое время
С собой привело псевдонимы
Светлов и Веселый.
Но не допустило бы
снова назваться
Горьким и Бедным

Оно допускало фамилию
Беспощадный,
Но не позволяло фамилии
Безнадежный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
Фамилий своих отвергая унылую
ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе
с ними!
Ее пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.

...Когда его выносили из клуба
Писателей, где он проводил полсуток,
Все то, что тогда говорилось, казалось
глупо,
Все повторяли обрывки светловских
шуток.

Он был острословьем самой серьезной
эпохи,
Был шуткой тех, кому не до шуток было.

В нем заострялось время, с которым
шутки плохи,
В нем накалялось время
до самого светлого пыла.

Не много мы с ним разговаривали
разговоров,
И жили не вместе, и пили не часто,
Но то, что не видеть мне больше
повадку его и нор, —
Большое несчастье.

* * *

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Прологатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ

Одни верны России
 потому-то,
Другие же верны ей
 оттого-то,
А он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Его кормили.
 Но кормили — плохо.
Его хвалили.
 Но хвалили — тихо.

Ему давали славу.

Но едва.

Что ж, с первого мальчишеского вздоха

До смертного

обдуманного

крика

Поэт искал

не славу,

а слова.

Слова, слова.

Он знал одну награду:

В том,

чтоб словами своего народа

Великое и новое назвать...

КУЛЬЧИЦКИЕ — ОТЕЦ И СЫН

В те годы было

слишком мало праздников,
И всех проказников и безобразников
Сажали на неделю под арест,—
Чтоб не мешали Октябрю и Маю.
Я соболезнаю, но понимаю:
Они несли не слишком тяжкий крест.

Офицерье, хулиганье,
Империи осколки и рванье,
Все социально чуждые и часть
(далекая)
социально близких,

Означенная в утвержденных списках,
Без разговоров отправлялась в часть.

Кульчицкий — сын

по праздникам шагал

В колоннах пионеров. Присягал

На верность существующему строю.

Отец Кульчицкого — наоборот: сидел

В тюрьме, и угрюмел, и седел, —

Супец — на первое, похлебка — на

второе.

В четвертый мая день (примерно) и

Девятый — ноября

в кругу семьи

Кульчицкие обычно собирались.

Какой шел между ними разговор?

Тогда не знал, не знаю до сих пор,

О чем в семье Кульчицких

препирались.

Отец Кульчицкого был грустен, сед,

В какой-то ветхий казакин одет.

Кавалериста, ротмистра, гвардейца,

Защитника дуэлей, шпор певца
Не мог я разглядеть в чертах отца,
Как ни пытался вдуматься,
вглядеться.
Кульчицкий Михаил был крепко сбит,
И странная среда, угрюмый быт
Не вытравила в нем, как ни травила,
Азарт, комсомолятину его,
По сути не задела ничего,
Ни капельки не охладила пыла.

Наверно, яма велика войны!
Ведь уместились в ней отцы, сыны,
Осталось также место внукам, дедам.
Способствуя отечества победам,
Отец — в гестапо и на фронте — сын
Погибли. Больше не было мужчин

В семье Кульчицких... Видно, велика
Россия, потому что на века
Раскинулась.

И кто ее охватит?
Да, каждому,
покуда он живой,

Хватает русских звезд над головой,
И места
 мертвому
 в земле российской хватит.

ГОЛОС ДРУГА

*Памяти поэта
Михаила Кульчицкого*

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.

В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ошупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

БОТИНКИ МАЯКОВСКОГО

Сорок седьмой номер:
Огромные, как сапоги.
К ботинкам Маяковского
Не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского
Носить не смог никто.
Кроме того, осталось
Его пальто.

Кроме того, остался
Его пример,
Но больше человеческого
Его размер.

В маленькой квартирке
Маленький музей:
Вещи Маяковского,
Книги его друзей.

Чашечки Маяковского
На полочках стоят.
Сколько меду и яду
Чашечки таят?

Кроме того, ботинки,
Кроме того, пальто.
Чашу Маяковского
Не осушил никто.

Ю Б И Л Е Й

Старенький Сарьян,
 с его скрипаческой,
Седенькой и вьющейся прической,
С живописью,
 ясной, качественной,
С жизнью
 ясной, четкой,

Старенький Сарьян дождался полного
Удовлетворения претензий:
Телесъемки, вернисажа полного,
Киносъемки, музыки, гортензий.

Умные московские армяне
Радостно приветствуют собрата.
Гордые армянские армяне
Прибыли с подножий Арарата.

Три скрипачки скрипочки уперли
В плечики
 и тихо ждут приказа,
И першит от тревоженья в горле
У сынов России и Кавказа.

Все-таки железное здоровье
Нужно,
 чтобы этого дожждаться.
Да, здоровье. И еще — второе:
Трижды сверхжелезная удача.

То, что сдуру названо талантом,
Даром. В этом деле все — недаром,
Нечего здесь делать дилетантам,
Балагурам, трепачам, гусарам.

Впрочем, отвлекаться не приходится:
Хоровод старинный хороводится,
Юбилей законный юбилеется.
Это дело наконец-то клеится.

СТРАХ

Чего боится человек,
Прошедший тюрьмы и окопы,
Носивший ружья и оковы,
Видавший

новой бомбы

сверк?

Он, купанный во ста кровях,
Не понимает слово «страх».
Да, он прошел сквозь сто грязей,
В глазах ирония змеится,
Зато презрения друзей
Он, как и век назад,
боится.

С. П. СЕДОВ

Савелий Петрович Седов
Приехал в Москву из деревни
В старинный, забытый и древний
Период двадцатых годов.

На вялых листочках анкет
Писал он разборчиво — крупно,
Решительно, зло, неотступно
Серьезное слово «Поэт».

То время поэта всерьез
И слишком всерьез принимало.
На гребни эстрад поднимало,
Любило поэта до слез.

Сажало его, как зерно
Грядущего, лучшего люда,
В суглинок. И брало оттуда.
То время избыто давно.

Певец невысоких садов.
Сказитель рязанских гераней.
Савелий Петрович Седов
Есенина выбрал героем.

Он раннюю старость застал
Поэта
и стал ему другом.
И слушал усталую ругань
В трактирах московских застав.

Усвоив повадки и удаль,
Талант не освоил никак.
И вот из поэзии убыл
Седов, поступил на рабфак.

Была несомненная хватка
В том сыне рязанской земли.

Стихи и дешевая водка
Его оглушить не смогли.

Его не смогла успокоить,
Смирить, покорить не могла
Богемной хвальбы пустяковость.
Небрежных журналов хула.

Просодии тайны постигший,
Он алгебры тайны постиг.
Студентом пять лет пропустившись,
Отстал от занятий пустых.

Я знал его в новую эру.
Седой — он еще не сдавал
И в звании инженера
Мне угол в квартире сдавал.

Т Р И С Е С Т Р Ы

Я разобрал рязанскую игрушку,
Изобразившую старушку,
Со вложенной в нее еще одной
Старушкой вырезной.

Три круглых бабы в красных
сарафанах,
Три добрых, ладных, гладких,
деревянных
Предстали на ладони предо мной.

Я вспомнил комнату, где на рояле
Три эти женщины всегда стояли
Как символ дома и как герб семьи,
И вас, живые женщины мои,

Похожих до смешного друг на друга
И на прабабку — важную старуху
(В шкафу альбом и локонов струи).

Когда бы вы туда ни забрели,
Мужчин — как будто не изобрели,
Как будто их забыли.

И к тому же

Я не слышал о сыне или муже,
Отце и брате

этих трех сестер.

(Так, верно, и зовут их до сих пор.)

Пекли, варили, шили, прибирали,
Друг дружку деловито пробирали,
И вновь варили, шили и пекли,
И на работу, как и все, ходили,
А ежели подкову находили,
Ее домой торжественно несли.

Добра не ищут от добра.

И та

Подкова

ни к чему была, пожалуй.

С НАШЕ УЛИЦЫ

Не то чтобы попросту шлюха,
Не то чтоб со всеми подряд,
Но все-таки тихо и глухо
Плохое о ней говорят.

Но вот она замуж решает,
Бросает гулять наконец
И в муках ребенка рожает —
Белесого,

точно отец.

Как будто бы

содою с мылом,

Как будто отребья сняла,

Она отряхнула и смыла

Все то, чем была и слыла.

Гордясь красотою жестокой,
Она по бульвару идет,
А рядышком

муж синеокий

Блондина-ребенка несет.

Злорадный, бывалый, прожженный

И хитрый

бульвар

приуныл:

То сын ее,

в муках рожденный,

Ее от обид заслонил.

Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тошая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья
Андревна.

Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.

ДЕЖУРНЕНЬКАЯ

«Дежурненькая, дайте Полюс!»

(Разговор на междугородной)

Дежурная на телефоне,
А мир у ней, как на ладони:
Толкнешь ладонью — и слегка,
Как школьный глобус от щелчка,
Закачается
И завращается.
Наверно, весело и лихо
Сквозь голосов неразбериху
Найти Париж, сказать Москве:
«Я — Ялта! Дай минутки две.
Две минутки — это шутки.

Я — Ялта. Дай мне три минутки».
Наверно, хорошо рукою
Ловить пространство, что рекою
Течет сквозь пальцы, но, как рана,
Срастется поздно или рано.
«Я — Ялта! И сто раз на дню
Я вас соединю».

Соединение влюбленных
И пунктов самых отдаленных,
Льда с пламенем и ночи с днем,
За ночью — ночь и день за днем.
Всего разъятого слиянье.
Вот пафос! Вот ее сиянье!
— Дежуренькая! Дайте дали,
Те, что мне час назад не дали.
Соедини, свяжи, сведи,
Как сваха, с миром мир сведи,
Ты человечества отросточек,
Вселенной людный перекресточек!

УЧИЛКА

Училка бьет чернилку
Пером рондо,
Запахивая зябко
Полупальто.

Училка сто контрольных
Прочесть должна.
Она недосыпает:
Худа, бледна.

Училка, улыбаясь,
Глядит в тетрадь:
Ее любимых мыслей
Бушует рать.

Они вошли в сознание
Ее ребят.
Сейчас перед глазами
Они рябят:

Свобода, Отечество
И Красота с Добром.
Училка бьет в чернилку
Своим пером.

НА ВЫСТАВКЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Откроются двери, и сразу
Врываешься

 в град мастеров,
Врываешься в царствие глаза,
Глядящего из-под вихров.

Глаз видит

 и пишет, как видит.

А если не выйдет — порвет.
А если удастся и выйдет —
На выставку тут же пошлет.
Там все, что открыто Парижем
За сотню последних годов,
Известно белесым и рыжим
Ребятам

 из детских садов.

Там тайная страсть к зоопарку,
К футболу

открытая страсть,
Написаны пылко и жарко,
Проявлены

с толком

и всласть.

Правдиво рисуется праздник:
Столица

и спутник над ней.

И много хороших и разных,
Зеленых и красных огней.

Правдиво рисуются войны:

Две бомбы

и город кривой.

А что, разве двух не довольно?

Довольно и хватит с лихвой.

Чтоб снова вот эдак чудесить,

Желания большего нет —

Меняю

на трижды по десять

Все тридцать пережитых лет.

* * *

Целый класс читает по складам
Хором. Что-то новое и важное.
Шелестит торжественно бумажное,
Весело душевное поет.
Души формируются отважные,
Зрелость постепенно настает.
Зрелость постепенно наступает,
Словно осторожный командарм,
А покуда целый класс читает,
Целый класс
 читает по складам.

* * *

Не тот читает, кто покупает,
А тот читает, кто продает.
Всю ночь листает и копает,
Себе покоя не дает.

Ах, книги, вы всегда молчали
И вдруг сквозь кожу или ткань
Заговорили, закричали,
Да так, хоть уши затыкай.
Затосковали, зашептались,
Подобно волнам и садам,
Да так, что полки зашатались —
Я завтра тоже их продам.

Ах, книги, вас не много нужно,
Вас мало нужно — пять иль шесть:
Вы шепчете согласно, дружно,
Договоренность в книгах есть.

А я не знал, а я не думал,
Количеством я дорожил,
Но вот я пыль с обложек сдунул,
По чемоданам разложил.

И все: хорошие и лишние,
Однообразные, различные,
Я, с чемоданом на весу,
По букинистам разнесу.

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Духовые оркестры на дачных курзалах
И

на вдаль провожающих войско
вокзалах,

Громыхайте, трубите, тяните свое.
Выдавайте по пуду мажора на брата
И по пуду минора,
Если боль и утрата.
Выдавайте, что надо,
Но только свое.

Ваши трубы — из той же, что каски
пожарных,

Меди

вылиты,

тем же пожаром горят.

Духовые оркестры! Гремите в казармах,
Предваряйте и возглавляйте парад.

Бейте, марши,

тяжелые, словно арбузы!

Сыпьте вальсы

веселой и щедрой рукой!

Басовитая, мужеподобная муза

Пусть не лучше,

так громче

будет всякой другой.

Духовое стоит где-то рядом с душевным.

Вдохновляйте на подвиг

громыханьем волшебным.

Выжимайте, как штангу тяжелоатлеты:

Тонны музыки

плавно вздыматься должны.

Космонавтам играйте в минуту отлета

И встречайте солдат,

что вернулись с войны.

* * *

В звуковое кино не верящие
Много лет. Давным-давно
Не немое любим — немеющее,
Вдруг смолкающее

кино.

Обрывается что-то, портится,
Иссякает какой-то запас,
И лицо на экране корчится
И не может крикнуть на вас.

Речи темные, речи ничтожные
Высыхают, словно слеза.
Остаются одни непреложные
Лица, лики, очи, глаза.

Остается одно — выражение
Уст разъятых и глаз в огне,
Впечатляющее, как поражение
В мировой, многолетней войне.

* * *

В маленькую киношку
Да на сеанс дневной,
Чтоб людей немножко,
Чтоб механик дрянной —

В маленькую, вставленную,
Врезанную в домок,
Чтобы картину старенькую
Я досмотреть бы мог.

Только сеанс начнется —
Сразу часы заскрипят,
Сразу стрелка качнется
Наоборот, назад.

Что же там было вначале?
Кто играл и кого?
Мы ведь — не замечали,
Не видели ничего.

Смотрится — любо-дорого,
Хоть и снято давно.
Все-таки было здорово
В том, довоенном, кино.

Все-таки было славно.
Я досмотрю исправно
И с облегченной душой
Тихо пойду домой.

П Л А С Т И Н К А

Долго играет долгоиграющая,
Долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.

Музыка — как по ухабам и рытвинам
Путь
 без края, конца, предела.
Тонким, режущим душу, бритвенным
Голосом
 женщина что-то пела.

Впрочем, не важно, что такое,
Были бы звуки — острые, резкие.
Точно чувство непокоя
Вдруг возникает в начале поездки.

Вдруг возникает и не оставляет
В медленном, словно вращенье
земное,
В медленном ходе пластинки. Цепляет
Что-то меня. Уходит со мною.
Музыка за руку провожает:
Словно колесами переезжает.

МУЗЫЧКА

Все — не важно. Важно только,
Чтобы не стихала эта полька.
Где? В душе. Чтоб музыка звучала
Каждый день — сначала.
Музычка! Протопочи, мужичка!
Про свои привычки!
И как панна — поведи плечами
Про свои печали.
Музычка! Синкопы или такты,
Доремифасоли и ключи —
Как же, почему же так ты?
Музыка, работай, не молчи!

СТАРУХА В ОКНЕ

Тик сотрясал старуху,
Слева направо бывший,
И довершал разруху
Всей этой дамы бывшей:
Шептала и моргала
И головой качала,
Как будто отвергала
Все с самого начала,
Как будто отрицала
Весь мир из двух окошек,
Как будто отрезала
Себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
Перебирали четки,

А сына расстреляли
Давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что белым был он.
И видимо — задело.
Наверно — не забыла.
Конечно — не очнулась
С минуты той кровавой.
И голова качнулась,
Пошла слева — направо.
Пошла слева направо,
Потом справа налево,
Потом опять направо,
Потом опять налево.
И сын — белее снега
Старухе той казался,
А мир — краснее крови
Ее почти касался.
Он за окошком — рядом
Сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
Она в окно глядела.

СЧАСТЬЕ

Л. Мартынову

Словно луг запах
В самом центре городского быт.
Человек прошел, а на зубах
Песенка забыта.
Гляньте-ка ему вослед —
Может, пьяный, а скорее, нет.

Все решили вдруг:
Так поют после большой удачи,—
Скажем, выздоровел друг,
А не просто выстроилась дача.
Так поют, когда вернулся брат,
В плен попавший десять лет
назад.

Так поют,
Разойдясь с женою нелюбимой,
Ненавидимой, невыносимой,
И, сойдясь с любимой, так поют,
Со свиданья торопясь домой,
Думая: «Хоть час, да мой!»

Так поют,
Если с плеч твоих беда
свалилась,—
Целый год с тобой пить-есть
садилась,
А свалилась в пять минут,
Веря: эта самая беда
В дверь не постучится никогда.

Шел и пел
Человек. Совсем не торопился.
Не расхвастался и не напился!
Удержался все же, утерпел.
Просто — шел и пел.

Б Л У Д Н Ы Й С Ы Н

Истощенный нуждой,
Истомленный трудом,
Блудный сын возвращается
в отческий дом

И стучится в окно осторожно.

— Можно?

— Сын мой! Единственный! Можно!
Можно все. Лобызай, если хочешь, отца,
Обгрызай духовитые кости тельца.
Как приятно, что ты возвратился!
Ты б остался, сынок, и смирился.—
Сын губу утирает густой бородой,
Поедает тельца,
Запивает водой,

Аж на лбу блещет капелька пота
От такой непривычной работы.
Вот он съел, сколько смог.
Вот он в спальню пошел,
Спит на чистой постели.
Ему — хорошо!
И встает.
И свой посох находит.
И, ни с кем не прощаясь, уходит.

ГЛУХОЙ

В моей квартире живет глухой —
Четыре процента слуха.
Весь шум — и хороший шум
и плохой —
Не лезет в тугое ухо.

Весь шепот мира,
весь шорох мира,
Весь плеск,
и стон,
и шелест мира —
Все то, что слышит наша квартира,
Не слышит глухой из нашей квартиры.

Но раз в неделю,
 в субботний вечер,
Сосед включает радиоящик
И слушает музыку,
 слушает речи,
Как будто слух у него настоящий.
Он так поворачивает регулятор,
Что шорох мира становится
 громом,
Понятен и ясен хоть малым ребятам,
Как почерк вывесок,
 пряч и огромен.

В двенадцать часов,
 как всегда аккуратны,
На Красной площади бьют куранты.
Потом тишина прерывается гимном,
И гимн гроыхает,
 как в маршевой роте,
Как будто нам вновь победить иль
 погибнуть
Под эти же звуки
 на Западном фронте.

* * *

Комната кончалась не стеной,
А старинной плотной занавеской,
А за ней — пронзительный и резкий,
Словно жестяной,
Голос жил и по утрам
Требовал настойчиво газеты,
А потом негромко повторял:
— Принесли уже газеты?

Много лет, как паралич разбил,
Все здоровье — выпил.
Все как есть сожег и истребил,
Этого не выбил.
Этой страсти одолеть не смог.

Временами глухо
Слышалось, как, скорчившись в комок,
Плакала старуха.

— Больно? — спросишь.

— Что ты,— говорит.—

Засуха!

В Поволжье хлеб горит

ТОПОЛЯ

Я в Харькове опять. Среди аллей
Солидно шелестящих тополей —
Для тени, красоты и наслаждений
Посажённых народом насаждений.
Нам двадцать с лишним лет
тому назад
Обещано: здесь будет город-сад.
И достоверней удостоверений
Тополя над Харьковом шумят.

Да, тополь был необходимым
признак —
Народом поставлено моим,

Что коммунизм не станет
коммунизмом

Без тополиных шелестов над ним.
И слабыми, неловкими руками
Мы, школьники, окапывали ямы
Для слабеньких и худеньких ростков.

Их столько зорких стерегло врагов!
Их бури гнули. Суховей жгли.
Под корень оккупанты вырубали.
Известно достоверно, что дровами,
Наверно, тыщи тополей пошли.

Но как на место павшего солдат
Становится, минуты не теряет, —
Так новые посадки шелестят
И словно старый шелест повторяют.

Все правильно, дела идут на лад!
И в Харькове, Москве, по всей России
Те слабые ростки, что мы растили,
Большими тополями шелестят.



МОЯ РАБОТА

Ф И З И К И И Л И Р И К И

Что-то ф́изики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то ф́изики в почете,
То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно.
А скорее, интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы.

О КНИГЕ «ПАМЯТЬ»

Мало было строчек у меня:
Тыщи полторы. Быть может — две.
Все, как есть, держал я в голове.

Скоростных баллад лихой набор!
Место действия — была война.
Время действия — опять война.

В каждой — тридцать строчек про
войну,
Про ранения и про бои.
Средства выражения — мои.

Говорили: не похож! Хорош —
Этого никто не говорил.
Собственную кашу я варил.

Свой рецепт, своя вода, своя крупа.
Говорили, чересчур крута.
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Свое клеймо.
Собственного почерка письмо.

Т Р И М Е Л О Д И И

Три мелодии или четыре.
Я на них нанизывал стих.
Словно в собственной старой
квартире,
Разбирался
в мелодиях сих.

Три мелодии. Марша вроде и
Вроде вальса. И вроде дуды.
И раздумчивая мелодия
О природе людской беды.

Рядом
всех существующих в мире

Звуков

 мощно гремел хорал.
Три мелодии или четыре
Я из музыки всей избрал.

Не переоценивал силы.
Носа не задираю. Не хотел.
Три мелодии были мне милы,
Те,
 что я еще в детстве свистел.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ

Сердце барахлило, а в плечах
Мучились осколки.
Память выметало из подкорки,
Пропадал, томился я и чах.

Впрочем, как ни нарастало трение
В механизме, с шествием годов —
Никогда не подводило зрение:
Видеть был всегда готов.

Изумлялись лучшие врачи.
Говорили: все лечи,
Кроме глаз, глаза, как телескопы,
Видят хорошо и далеко.

Зрение поставлено толково.
Прямо в корень смотришь, глубоко.

Слуху никогда не доверял,
Обоянию не верил,
Осязанием не злоупотреблял:
На глазок судил, рядил и мерил.

Ежели увижу — опишу
То, что вижу, так, как вижу.
То, что не увижу, — опущу.
Домалевыванья непавижу.

Прожил жизнь. Образовался этакий
Впечатлений зрительных
навал.

Всю свою нехитрую эстетику
Я на том навале основал.

* * *

Перевожу с монгольского

и с польского,

С румынского перевожу и с финского,

С немецкого, а также и с ненецкого,

С грузинского, а также с осетинского.

Работаю с неслыханной охотою

Я только потому над переводами,

Что переводы кажутся пехотою,

Взрывающей валы между народами.

Перевожу смелее все и бережней

И старый ямб, и вольный стих

теперешний.

Как в Индию зерно для голодающих,

Перевожу правдивых и дерзающих.

А вы, глашатаи идей порочных,
Любой земли фразеры и лгуны,
Не суйте мне, пожалуйста,

подстрочник —

Не будете вы переведены.

Пучины розни разделяют страны.

Дорога нелегка и далека.

Перевожу,

как через океаны,

Поэзию

в язык

из языка.

* * *

Я перевел стихи про Ильича.
Поэт писал в Тавризе за решеткой.
А после — сдуру или сгоряча —
Судья вписал их в приговор короткий.
Я словно тряпку вынул изо рта —
Тюремный кляп, до самой глотки
вбитый.

И медленно приподнялся убитый,
И вдруг заговорила немота.

Как будто губы я ему отер,
И дал воды, и на ноги поставил:
Он выбился — просветом из-под ставен,
Пробился, как из-под золы костер.

Горит, живет.

Как будто, нем и бледен, не падал он.

И я — не поднимал.

А я сначала только слово

Ленин

Во всем восточном тексте

понимал.

* * *

Я учитель школы для взрослых,
Так оттуда и не уходил —
От предметов точных и грозных,
От доски, что черней чернил.

Даже если стихи слагаю,
Все равно — всегда между строк —
Я историю излагаю,
Только самый последний кусок.

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.
До конца мы еще не растратили
Свой учительский авторитет.

Мы не просто рифмы нанизывали —
Мы добьемся такой строки,
Чтоб за нами слова записывали
После смены ученики.

КАК ДЕЛАЮТ СТИХИ

Стих встает, как солдат.
Нет. Он — как политрук,
Что обязан возглавить бросок,
Отрывая от двух обмороженных рук
Землю (всю),
Глину (всю),
Весь песок.
Стих встает, а слова, как солдаты,
лежат.
Стих встает, а кругом — ни души:
Вспоминают про избы, про жен, про
ребят.
Подними их,
Развороши!

И тогда политрук — впрочем, что же я
вам

говорю —

стих

хватает наган,

Бьет слова рукояткою по головам,

Сапогом бьет слова по ногам.

И слова из словесных окопов встают,

Выползают из-под словарей,

И бегут за стихом, и при этом — поют,

И бегут — все скорей и скорей.

И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,

Умирают, смирны и тихи.

Вот как роту в атаку подьемлют,

И вот

Как слагают стихи.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ ПОЭЗИИ

Обдумыванье и расчет
Поэзию, конечно, губят.
Она не пилит, а сечет,
И не сверлит, а с маху рубит.

Я трогаю босой ногой
Прибой поэзии холодный.
А может, кто-нибудь другой —
Худой, замызганный, голодный —
С разбегу прыгнет в пенный вал,
Достигнет сразу же предела,
Где я и в мыслях не бывал.

Вот в этом, видимо, все дело.

* * *

Чистота стиха,
Новые слова,
Свежие, хорошие,—
Как утро с порошею,
И ясная голова.
Карандаш бы очинить,
Перо бы в чернила —
И такое сочинить,
Чтобы причинило
Счастье
 сразу многим
Людям,
Человекам.
Только так шагать мы будем
В ногу
 с веком.

* * *

О чем он думает, солдат, в окопе у
врага?
И не «ура», а просто «а» рыдая, как
пурга,
Россия — «а», отчизна — «а» и «а» —
родная мать.
О чем кричит и как его, солдата,
понимать?
Про это — трезвый промолчит, а
пьяница — солжет,
Трепля усталые слова ленивым языком.
И лишь поэт, что девять книг напишет
и сожжет,

В десятой скажет Вам,
О чем,
И скажет Вам — о ком.

* * *

Стихотворенье как столпотворенье.
Оно не помогает от простуд.
И логики полезные корни
В том диком поле часто не растут.

Оно не помогает от простуд.
Зато оно от смерти — помогает.
И подымает или помыкает.
А овощи в том поле — не растут.

* * *

Человек на развилке путей
Прикрывает газетой глаза,
Но куда он свернет,
Напечатано в этой газете.
То ли просто без всяких затей,

То ли в виде абстрактных идей,
Но куда он свернет,
Напечатано в этой газете.

Он от солнца глаза заслонил.
Он давно прочитал и забыл.
Да, еще на рассвете.
На развилке пред ним два пути,

Но куда ему все же идти,
Напечатано в этой газете.

С О В Е Т Ы Н А Ч И Н А Ю Щ И М П О Э Т А М

Отбывайте, ребята, стаж.
Добывайте, ребята, опыт.
В этом доме любой этаж
Только с бою может быть добыт.
Легче хочешь?

Нет, врешь.

Проще, думаешь?

Нет, плоше.

Если что-нибудь даром возьмешь,
Это выйдет себе дороже.

Может быть, ни одной войны
Вам, ребята, пройти не придется.

Трижды

М И Р отслужить вы должны:
Как положено,
Как ведется.

Здесь, в стихах, ни лести, ни
подлости

Недействительна власть.
Как на Северном полюсе:
Ни купить, ни украсть.

У народа нет времени,
Чтобы выслушивать пустяки.
В этом трудность стихотворения
И задача для вашей строки.

ЧИТАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЭТА

Читатель отвечает за поэта,
Конечно, ежели поэт любим,
Как спутник отвечает за планету
Движением
и всем нутром своим.

Читатель — не бессмысленный кусок
Железа,
в беспредельность пущенный.
Читатель — спутник,
И в его висок
Без отдыха стучится жилка
Пушкина.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

Я вывернул события мешок
И до пылинки вытряс на бумагу.
И, словно фокусник, подобно магу,
Загнал его на беленький вершок.
Вся кровь, что океанами текла,
В стакан стихотворенья поместилась.
Вся мировая изморозь и стылость
Покрыла гладь оконного стекла.
Но солнце вышло из меня потом,
Чтобы расплавить мировую наледь
И путникам усталым просигналить,
Каким им ближе следовать путем.

Все это было на одном листе,
На двадцати плюс-минус десять
строчек.

Поэты отличаются от прочих
Людей
 приверженностью к прямоте
И краткости.

* * *

Поэт не телефонный,
А телеграфный провод.
Событие — вот законный
Для телеграммы повод.

Восстания и войны,
Рождения и гибели
Единственно достойны,
Чтоб их морзянкой выбили.

А вот для поздравления
Мне телеграфа жаль
И жаль стихотворения
На мелкую печаль.

Мне жаль истратить строки
И лень отдать в печать,
Чтоб малые порски
Толково облпчать.

* * *

От неверной формулы,
От ошибки в данных,
Без толку, не вовремя
Где-то кем-то данных,
Оттого, что сразу же
Это не заметили,
Вдруг запахнет фальшью
В тоне ли, в предмете ли.
Так давайте сразу —
С точностью дотошной,
Чтобы даже фразы
Не было
неточной.
Чтобы даже слова
Не было такого.

«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

Шел фильм.
И билетерши плакали
Над ним одним
По восемь раз.
И слезы медленные капали
Из добрых близоруких глаз.

Глазами горькими и грозными
Они смотрели на экран,
А дети стать стремились взрослыми,
Чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
Под музыки дешевый гром

Из смеси черного и белого
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
Сюжет кричал, как человек,
И пробуждались чувства добрые
В жестокий век,
В двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
И осуждался произвол.
Все вместе это называлось,
Что просто фильм такой пошел.

О СЕБЕ

Г У Д К И

Я рос в тени завода
И по гудку, как весь район, вставал —
Не на работу:

я был слишком мал —
В те годы было мне четыре года.
Но справа, слева, спереди — кругом
Ходил гудок. Он прорывался в дом,
Отца будя и маму поднимая.

А я вставал
И шел искать гудок, но за домами
Не находил:

Ведь я был слишком мал.
С тех пор, и до сих пор, и навсегда
Вошло в меня: к подъему ли, к обеду

Гудят гудки — порядок, не беда,
Гудок не вовремя — приносит беды.

Не вовремя в тот день гудел гудок,
Пронзительней обычного и резче,
И в первый раз какой-то странный,
вещий
Мне на сердце повеял холодок.

В дверь постучали, и сосед вошел,
И так сказал — я помню все до слова:
— Ведь Ленин помер.—

И присел за стол.
И не прибавил ничего другого.

Отец вставал,
садился,
вновь вставал.

Мать плакала,
склонясь над малышами.

А я был мал,
и что случилось с нами —
Не понимал.

Л Е Т О М

Словно вход,
Словно дверь —
И сейчас же за нею
Начинается время,
Где я начинался.
Все дома стали больше.
Все дороги — длиннее.
Это детство.
Не впал я в него,
А поднялся.

Только из дому выйду,
На улицу выйду —
Всюду светлые краски такого разгара,

Словно шар я из пены
 соломинкой выдул
И лечу на подножке у этого шара.

Надо мною мечты о далеких планетах.
Подо мною трамваи ярчайшего цвета —
Те трамваи, в которых за пару монеток
Можно много поездить по белому свету.

Подо мною мороженщик с тачкою
 белой,
До отказа набитою сладкой зимою.
Я спускаюсь к нему,
Подхожу, оробелый,
Я прошу посчитать эту вафлю за мною.
Если даст, если выдаст он вафлю —
 я буду
Перетаскивать лед для него
 хоть по пуду.

Если он не поверит,
Решит, что нечестен, —
Целый час я, наверное,
Буду несчастен.

Целый час быть несчастным —
Ведь это не шутки.
В часе столько минуток,
А в каждой минутке
Еще больше секунд.
И любую секунду
В этом часе, наверно,
Несчастливым я буду!

Но снимается с тачки блестящая
крышка,
И я слышу: «Бери!
Ты хороший мальчишка!»

МУЗЫКА НАД БАЗАРОМ

Я вырос на большом базаре,
в Харькове,

Где только урны
чистыми стояли,

Поскольку люди торопливо харкали
И никогда до урн не доставали.

Я вырос на заплеванном, залузганном,
Замызганном,

Заклятом ворожбой,
Непстовою руганью
заруганном,

Забоженном
истовой божбой.

Лоточники, палаточники

пили

И ели,

животов не пощадя.

А тут же рядом деловито били

Мальчишку-вора,

в люди выводя.

Здесь в люди выводили только так.

И мальчик под ударами кружился,

И веский катерининский пятак

На каждый глаз убитого ложился.

Но время шло — скорее с каждым

днем,

И вот —

превыше каланчи пожарпой,

Среди позорной погани базарной,

Воздвигся столб

и музыка на нем.

Те речи, что гремели со столба,

И песню —

ту, что со столба звучала,

Торги замедлив,
 слушала толпа
Внимательно,
 как будто изучала.

И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи — нипочем!
И даже физкультурная зарядка
Лоточников
 хлестала, как бичом.

ДЕРЕВЬЯ И МЫ

Я помню квартиры наши холодные
И запах беды.
И взрослых труды.
Мы все были бедные.
Не то чтоб голодные,
А просто — мало было еды.

Всего было мало.
Всего не хватало
Детям и взрослым того квартала,
Где рос я. Где по снегу в школу бежал
И в круглые ямы деревья сажал.

Мы все были бедные. Но мы не вешали
Носов,

мокроватых от многих простуд,
Гордо, как всадники, ходили пешие
Смотреть, как наши деревья растут.

Как тополь (по-украински — явор),
Как бук (по-украински — бук)
Растут, мужают. Становится явью
Дело наших собственных рук.

Как мы, худые,
Как мы, зеленые,
Как мы, веселые и обозленные,
Не признающие всяческой тьмы,
Они тянулись к свету, как мы.

А мы называли грядущим будущее
(Грядущий день — не завтрашний
день)

И знали:

дел несделанных груды еще
Найдутся для нас, советских людей.
А мы приучались читать газеты

С двенадцати лет,
С десяти,
С восьми
И знали:

 пять шестых планеты

Капитализм,
А шестая — мы.

Капитализм в нашем детстве выгрыз
Поганую дырку, как мышь в хлебу,
А все же наш возраст рос, и вырос,
И вынес войну
На своем горбу.

18 ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачье,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была — неприступна,
Но походка была — легка.

Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И — в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

Я на медные деньги учился стихам,
На тяжелую, гулкую медь,
И набат этой меди с тех пор не стихал,
До сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку дает мне пятак,
А позднее — и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал *так*,
Покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал —
Дешевизною Пушкин зато поражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
А в читальнях ломились они
От стиха,
от безмерной его красоты.

Я в читальнях просиживал дни.
квартал наш

меня сумасшедшим
считал,

Потому что стихи на ходу я творил,
А потом на ходу, с выраженьем, читал,
А потом сам себе: «Хорошо!» — говорил.
Да, какую б тогда я ни плел чепуху,
Красота, словно в коконе, пряталась
в ней.

Я на медную мелочь
учился стиху.

На большие бумажки
учиться трудней.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Я жил над музыкальной школой.
Меня будил проворный, скорый,
Быстро-поспешный перебряк:
То гармонисты, баянисты,
А также акордеонисты
Гоняли гаммы так и сяк.
Позднее приходили скрипки,
Кларнет, гитара и рояль.
Весь день на звуке и на крике
Второй, жилой этаж стоял.
Все только музыки касалось —
Одной мелодии нагой,
И даже дом, как мне казалось,
Притопывает в такт ногой.

Он был проезжею дорогой —
Веселой, грязной и широкой,
Открытой настежь целый день
Для прущих к музыке людей.
Я помню их литые спины
И не забуду до конца
Замах рублевый кузнеца
Над белой костью пианино.
Как будто бы земля сама
На склоне лет брала уроки,
Гремели из дому грома,
Певцы ревели, как пророки.
А наш второй этаж, жилой,
Оглохнув от того вокала,
Лежал бесшумною золой
Над красным пламенем вулкана.

РЕСТОРАН

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
«Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
Столовая лампочка светит тускло.
А в ресторане с неба свисало
Обыкновенное солнце люстры.

Я столько читал об этом солнце,
Что мне захотелось его увидеть.
«Грамавай быстрее лани несется.
«Стипендию вовремя успели выдать.
«Что это значит? Это значит:

В десять вечера мною начат
Новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряженный, резкий, веский,
Умный, вежливый и смущенный —
Не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.
Сейчас я на них на всех погляжу.
Сейчас я кровные выну, выложу,
Но — закажу и — посижу.

Шел декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток
Знает, как это было толково —
Сидеть за столом, глядеть в потолок,
Видеть люстру большую, как солнце,
Чувствовать молодость, ум, талант
И наблюдать, как к тебе несется
Не знавший истории официант.

Подумав, рассудив, осторожно я
Заказываю одно пирожное.
Потом — второе. Нарзан и чай.
И поглядываю невзначай,
Презирает или не презирает
Мое небогатство
официант.

А вдруг — сквозь даль годов прозирает
Ум, успех, известность, талант!

Столик был у окна большого.
Но что мне было видеть в него?
Небо? Небо — тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые — обнажены.
Я глядел на слабые плечи,
На поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
Вырабатывали фокстрот.
Стало время. Умолкли часики.
Шел за окнами тридцать восьмой.
И забвенье, зовомое счастьем,
Не звало нас больше домой.
Хорошо быть юным, голодным,
Тощим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
Снова мчат в белоснежную даль.

ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В те годы утром я учился сам,
А вечером преподавал историю
Для тех ее вершителей, которые
Историю вершили по утрам:
Для токарей, для слесарей, для

плотников.

Встававших в полшестого, до гудка,
Для государства нашего работников,
Для деятелей стройки и станка.

Я был и тощ и невысок, а взрослые —
Все на подбор, и крупные и рослые,
А все-таки они день ото дня
Все терпеливей слушали меня.

Работавшие день-деньской, усталые,
Они мне говорили иногда:
— Мы пожилые. Мы еще не старые.
Еще учиться не ушли года.—
Работавшие день-деньской, до вечера,
Карандашей огрызки очиня,
Они упорно, сумрачно и вежливо
И терпеливо слушали меня.
Я факты объяснял,
 а точку зрения
Они, случилось, объясняли мне.
И столько несправедливости и презрения
В ней было
 к барам,
 к Гитлеру,
 к войне!

Локтями опершись
 о подоконники,
Внимали мне,
 морщина глыбы лбов,
Чапаева и Разина поклонники,
Сторонники
 голодных и рабов.

А я гордился честным их усердием,
И сам я был

внимателен, как мог.

И радостно,

с открытым настроем сердцем.

Шагал из института на урок.

ПОЛИТРУК

«Словно именно я был такая-то мать,
«Всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
В этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
То я души спасал,
То трофеи считал,
То газеты читал.

И хоть шел назад,
Но кричал я: «Вперед!»
«Очень твердо я верил: победа придет.

Не умел воевать, но умел я вставать,
«Отрывать гимнастерку от глины
«И солдат за собой поднимать,

Ради родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.

О Д Н О Ф А М И Л Е Ц

В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.

А той травой могила поросла,
А та могила пазывалась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник

хранит

Предстали пред глазами пред моими.

Все буквы — семь — сходились у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной
светились.

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но бёз вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал.
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.

КАК МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ

Очень долго прения длились:
Два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.

Седоусая секретарша,
Лет шестидесяти иль старше.
Вышла, ручками развела,
Очень ясно понять дала.

Не понравился, не показался —
В общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
Не меня

весь этот вопрос.

Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопнуть не стал.
И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.

Так учителем географии
(Лучше в городе, можно в район)
Я не стал. И в мою биографию
Этот год иначе внесен.

Так не взяли меня на работу.
И я взял ее на себя,
Всю неволю свою, всю охоту
На хореи и ямбы рубля.

На анапесты, амфибрахии,
На свободный и белый стих.
А в учителя географии
Набирают совсем других.

В С О Р О К Л Е Т

Ночной снегопад еще не примят
Утренней тропкой — до электрички.
Сотрясая мост через речку,
Редкие поезда гремят.
Белым-бело не от солнца — от снега.
Светло не от утра — светло от луны.
И жизнь предо мной — раскрытая
книга
В читальном зале земной тишины.
И сорок лет,
те, что прошли,
И те года, что еще придут,
Летят поземкой вдоль земли,
Покуда бредешь, ветерком продут.

Не хочешь отдыха и ночлега,
А только — шагать вдоль тишины,
Покуда бело не от солнца — от снега,
Светло не от утра — светло от луны.

П О Е З Д А

Скорые поезда, курьерские поезда.
Огненный глаз паровоза —
Падающая звезда,
Задержанная в падении,
Летящая мимо перронов,
И многих гудков гудение,
И мерный грохот вагонов.

На берегу дороги,
У самого синего рельса,
Зябко поджавши ноги,
Мальчик сидел и грелся.
Черным дымом грелся,
Белым паром мылся,
Мылся белым паром,
Стремился стать кочегаром.
Как это было недавно!
Как это все известно!

Словно в район недалний,
Словно на поезде местном,
Еду я в эти годы —
Годы пара и дыма
И паровозов гордых
С бригадами молодыми
В белых и черных сорочках,
Белых и черных вместе.
Еду на этих строчках,
Как на подножках ездил.

* * *

Тушат свет и выключают звуки.
Вся столица в сон погружена.
А ко мне протягивают руки
Сестры — Темнота и Тишина.

Спят мои товарищи по комнате,
Подложив под голову конспект —
Чтобы то, что за день не запомнили,
За ночь все же выучить успеть.

Я прижался лбом к холодной раме,
Я застыл надолго у окна:
Никого и ничего меж нами,
Сестры — Темнота и Тишина.

До Луны — и то прямая линия,—
Не сворачивая, долечу!
Сестры, Тихая и Темно-синяя,
Я стихи писать хочу!

Темнота покуда мне нужна еще:
На свету мне стыдно сочинять!
Сестры! Я студент, я начинающий,
Очень трудно рифмы подбирать.

...Вглядываюсь в темень терпеливо
И, пока глаза не заболят,
Жду концов—хороших и счастливых—
Для недавно начатых баллад.

* * *

Я не любил стола и лампы
В квартире утлой, словно лодка,
И тишины, бесшумной лапой
Хватающей стихи за глотку.
Москва меня не отвлекала —
Мне даже нравилось,
 что гулки
Ее кривые, как лекало,
Изогнутые переулки.
Мне нравилось, что слоем шума
Ее покрыло, словно шубой,
Многоголосым гамом ГУМа,
Трамваев трескотнею грубой.
Я привыкал довольно скоро

К ушам,
 немного оглушенным,
К повышенному тону спора
И глоткам,
 словно бы луженым.
Мне громкость правилась и
 резкость —
Не ломкость слышалась, а крепость
За голосами молодыми,
Охрипшими
 в табачном дыме.
Гудков фабричных
 перегуды,
Звонков вокзальных
 перезвоны,
Громов июньских
 перегромы
В начале летнего сезона —
Все это надо слышать, слушать,
Рассматривать, не уставая.
И вот развешиваю уши,
Глаза пошире раскрываю
И, любопытный,
 словно в детстве,

Спешу
с горячей головою
Наслушаться и наглядеться,
Нарадоваться
Москвою.

НОВАЯ КВАРТИРА

Я в двадцать пятый раз после войны
На новую квартиру перебрался,
Отсюда лязги буферов слышны,
Гудков пристанционных перебранка.

Я жил у зоопарка и слышал
Орлиный клетот, лебедей плесканье.

Я в центре жил. Неоном полыхал
Центр надо мной.

Я слышал полосканье
В огромном горле неба. Это был
Аэродром, аэрогром и грохот.

И каждый шорох, ропот или рокот
Я записал, запомнил, не забыл.

Не выезжая, а переезжая,
Перебираясь на своих двоих,
Я постепенно кое-что постиг,
Коллег по временам опережая.

А сто или сто двадцать человек,
Квартировавших рядышком со мною,
Представили двадцатый век
Какой-то очень важной стороною.

РАСПРЯМЛЕНИЕ

Заваленный старой бумагой,
Заложенный тонкой закладкой
В какую-то толстую книгу
И там проживавший украдкой,
Как английский бомбардировщик,
Уже в чертежах
 устаревший,
Затоптанный, как подорожник,
Как древний папирус — истлевший —

Я вдруг надуваюсь, как парус,
Я вдруг, как тростник, распрямляюсь
И с каждой великой задачей
Я в полном объеме справляюсь.

А книги — совсем не помеха.
А книги — скорее помога.
И мне не до желчного смеха.
И вновь — предо мною дорога.

* * *

Хорошо, когда хулят и хвалят,
Превозносят или наземь валят,
Хорошо стыдиться и гордиться
И на что-нибудь годиться.
Не хочу быть вычеркнутым словом
В телеграмме, — без него дойдет! —
А хочу быть вытянутым ломом,
В будущее продолбавшим ход.

* * *

Народ за спиной художника
И за спиной Ботвинника,
Громящего остороженько
Талантливого противника.

Народ,

 за спиной мастера
Нетерпеливо дышащий,
Но каждое слово

 внимательно

Слушающий

 и слышащий,
Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною.
Дай мне твое дыхание
Почувствовать за спиною.

Ф У Т Б О Л

Я дважды в жизни посетил футбол
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.

А больше я не помню.

Но в третий раз...

Но, впрочем, в третий раз
Я нацепил гремучие медали,
И ордена, и множество прикрас,
Которые почти за дело дали.
Тяжелый китель на плечах влача,
Лицом являя грустную солидность,
Я занял очередь у врача,
Который подтверждает инвалидность.

А вас комиссовали или нет?
А вы в тех поликлиниках бывали,
Когда бюджет,
Как танк на перевале:
Миг — и по скалам загредел бюджет?
Я не хочу затягивать рассказ
Про эту смесь протеза и протеста,
Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас.
Сидевший рядом трясся и дрожал.
Вся плоть его переливалась часто,
Как будто киселю он подражал,
Как будто разлетался он на части.
В любом движении этой дрожью связан,
Как крестным знаком верующий черт,
Он был разбит, раздавлен и размазан
Войной, не только сплюснут,
но — растерт.

— И так — всегда?

Во сне и на яву?

— Да. Прыгаю, а все-таки — живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
Запрыгала, как дождик, на губе.)

— Во сне — получше. Ничего себе.

И — на футболе. —
Он привстал со стула,
И перестал дрожать,
И подошел
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновенье,
И свежим, словно после омовенья.
(По-видимому, вспомнил про футбол.)
— На стадионе я — перестаю!
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!

* * *

Если я из ватника вылез
И костюм завел выходной,
Значит общий уровень вырос
Приблизительно вместе со мной.

Не желаю в беде или в счастье,
Не хочу ни в еде, ни в труде
Забирать сверх положенной части
Никогда. Никак. Нигде.

Никогда по уму и по стати
Не смогу обогнать весь народ.
Не хочу обгонять по зарплате,
Вылезать по доходам вперед.

Словно старый консерв из запаса,
Запасенный для фронтовиков,
Я от всех передряг упася —
Только чуть заржавел с боков.

Вот иду я — сорокалетний,
Средний, может быть, — нижесредний
По своей, так сказать, красе.
— Кто тут крайний?
— Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.

СЛУЧАЙ

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет,
А в Японии, на Ниппоне,
В этом случае бьют в живот.
Бьют в себя мечами короткими,
Проявляя покорность судьбе,
Не прощают, что были робкими,
Никому. Даже себе.
Где-то струсил, и этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самую злой, колючей
Оседает в твоей крови.
Солит мысли мои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает,
И покою мне не дает.

* * *

Образовался недосып,
По часу, по два собери:
За жизнь выходит года три.
Но скуки не было.

Образовался недоед:
Из масел, мяс и сахаров.
Сотчешь и сложишь — будь здоров.
Но скуки не было.

Образовался недобор:
Науки я не доучил
И счастья недополучил.
Но скуки — не было.

Как будто всю ее смели,
Как листья в парке в ноябре,
И на безлюдье, на заре
Собрали в кучу и сожгли.

И скуки не было.

* * *

А я не отвернулся от народа,
С которым вместе
голодал и стыл.

Ругал баланду,
Обсуждал природу,
Хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.

Когда годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку —
Не помнишь про обиды.

Я бы мог.

А вот — не вспомню.

Даже так, немножко.

Не льстить ему,
Не ползать перед ним!

Я — часть его.

Он — больше, а не выше.

Я из него действительно не вышел.

Вошел в него —

И стал ему родным.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|--|---|
| <i>Л. Лазарев. «С надеждой, правдой и добром...»</i> | 3 |
|--|---|

В о й н а

| | |
|--|----|
| Памятник | |
| Сон | 30 |
| Памяти товарища | 33 |
| В батальоне выздоравливаю- щих | 35 |
| Гора | 38 |
| «— Хуже всех на фронте пе- хоте!..» | 41 |
| Военный рассвет | 43 |
| Писаря | 46 |
| Мой комбат Назаров | 50 |
| «Последнюю усталостью устав...» | 53 |
| Как меня принимали в партию . | 55 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Кельнская яма | 58 |
| Мои товарищи | 61 |
| Задача | 63 |
| Госпиталь : : | 65 |
| Роман Толстого : | 69 |
| Лошади в океане | 72 |
| Немецкие потери | 75 |
| Наши летят! | 78 |
| Когда мы пришли в Европу . . | 80 |
| О погоде | 86 |
| Итальянец | 90 |
| «Я говорил от имени России...» | 95 |

Ж и з н ь

| | |
|---|-----|
| Рабочая песня | 99 |
| Засуха | 101 |
| Мальчишки | 105 |
| Пляжи 46-го года | 107 |
| Память | 110 |
| Баня | 112 |
| «Толпа на Театральной площади...» | 115 |
| «Вот вам село обыкновенное...» | 117 |

| | |
|--|-----|
| «Все слабели, бабы — не слабели...» | 119 |
| Перерыв | 120 |
| Кадры — есть! | 122 |
| Окраина | 124 |
| Провода | 126 |
| «Не только телеграммы в проводах...» : | 128 |
| «Ленина звали «Ильич» и «Старик»...» | 130 |
| Н. Н. Асеев за работой | 131 |
| На смерть Асеева | 133 |
| Псевдонимы | 134 |
| «Умирают мои старики...» | 137 |
| М. В. Кульчицкий | 138 |
| Кульчицкие — отец и сын | 140 |
| Голос друга | 144 |
| Ботинки Маяковского | 146 |
| Юбилей : | 148 |
| Страх | 151 |
| С. П. Седов | 152 |
| Три сестры | 155 |
| С нашей улицы | 158 |
| Старухи без стариков | 160 |

| | |
|--|-----|
| Дежурненькая | 162 |
| Училка | 164 |
| На выставке детских рисунков . | 166 |
| «Целый класс читает по складам...» | 168 |
| «Не тот читает, кто покупает...» . | 169 |
| Духовые оркестры | 171 |
| «В звуковое кино не верящие...» | 173 |
| «В маленькую киношку...» | 175 |
| Пластинка | 177 |
| Музычка | 179 |
| Старуха в окне | 180 |
| Счастье | 182 |
| Блудный сын | 184 |
| Глухой | 186 |
| «Комната кончалась не стеной...» | 189 |
| Тополя | 191 |

Моя работа

| | |
|--|-----|
| Физики и лирики | 195 |
| О книге «Память» | 197 |
| Три мелодии : : | 199 |
| Хорошее зрение | 201 |
| «Перевожу с монгольского и с польского...» | 203 |

| | |
|---|-----|
| «Я перевел стихи про Ильича...» | 205 |
| «Я учитель школы для взрослых...» | 207 |
| Как делают стихи | 209 |
| Чрезвычайность поэзии | 211 |
| «Чистота стиха...» | 212 |
| «О чем он думает, солдат, в окопе у врага?..» | 213 |
| «Стихотворенье как столпотворенье...» | 215 |
| Человек на развилке путей...» | 216 |
| Советы начинающим поэтам | 217 |
| Читатель отвечает за поэта | 219 |
| Творческий метод | 220 |
| «Поэт не телефонный...» | 222 |
| «От неверной формулы...» | 224 |
| «Броненосец «Потемкин» | 225 |

О с е б е

| | |
|------------------------------|-----|
| Гудки | 229 |
| Летом | 231 |
| Музыка над базаром | 234 |
| Деревья и мы | 237 |
| 18 лет | 240 |
| Медные деньги | 242 |

| | |
|---|-----|
| Второй этаж | 244 |
| Ресторан | 246 |
| Школа для взрослых | 249 |
| Политрук | 252 |
| Однофамилец | 254 |
| Как меня не приняли на ра- боту | 256 |
| В сорок лет | 258 |
| Поезда | 260 |
| «Тушат свет и выключают зву- ки...» | 262 |
| «Я не любил стола и лампы...» | 264 |
| Новая квартира | 267 |
| Распрявление | 269 |
| «Хорошо, когда хулят и хва- лят...» | 271 |
| «Народ за спиной художни- ка...» : : | 272 |
| Футбол . . . : : | 273 |
| «Если я из ватника вылез...» . | 276 |
| Случай . . . : | 278 |
| «Образовался недосып...» | 279 |
| «А я не отвернулся от наро- да...» | 281 |



Борис Абрамович Слущий

ПАМЯТЬ

Редактор *И. Чеховская*

Художественный редактор *А. Цветков*

Технический редактор *Л. Титова*

Корректоры

Т. Кибардина и Н. Шхарбанова

Сдано в набор 8/XII 1968 г. А06810
Подписано в печать 19/V 1969 г. Бумага типографская № 1 84×108¹/₆₄.
4,5 печ. л. 7,56 усл. печ. л. 5,88 уч.-изд. л.+1 вкл. = 5,92. Тираж 25 000. Заказ 402 Цена 77 коп.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Московская типография № 20
Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР

Москва, 1-й Рижский пер., 2



